НИКОЛАЙ КУЗЬМИН

КРУГ ЦАРЯ СОЛОМОНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автор этой книги – член-корреспондент Академии художеств СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР Николай Васильевич Кузьмин. Имя Н. В. Кузьмина, мастера тонкого, филигранно отточенного рисунка, знакомо широким кругам читателей. Его изящные, с большим артистизмом выполненные рисунки к «Евгению Онегину» и «Графу Нулину» Пушкина, «Левше» Лескова и «Плодам раздумья» Козьмы Пруткова – высокие образцы графического искусства. В автобиографической повести «Круг царя Соломона» Н. В. Кузьмин рассказывает о родном пензенском городе Сердобске, где прошли его детство и юношеские годы, о людях, которые окружали его, и тех впечатлениях ранних лет, которые определили путь будущего художника.

- Николай Васильевич Кузьмин
  - Предисловие
  - Бабушка Настасья Семеновна
  - Мать сажает меня в печь
  - На катке и около
  - Круг царя Соломона
  - Река, деревья, травы
  - Родники
  - На базаре
  - Вера отцов
  - Счастье
  - Фотограф Пенский
  - Мальчик не в убыток
  - Аллея Марии-Антуанетты
  - Федор Антонович
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI
    - VII
    - VIII
    - IX
    - X
    - XI
    - XII
  - Урок анатомии

- Изгнание беса
- Судья и Венера
- Пьер Ширинкин
- Последний класс
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
- Начало пути
- Человек полетел
- Лев Толстой
- Красавица
- Самовар

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13

Николай Васильевич Кузьмин
Круг царя Соломона
Страницы былого

Предисловие
Проза художника

На суперобложке небольшого томика помещен выполненный черным штрихом рисунок. Художник нарисовал глыбистую землю пустыни с торчащими из нее цветами, похожими на райские крины, с двумя фантастическими деревьями, напоминающими смоковницы древнерусских миниатюр. Между деревьями стоит голый старик в набедренной повязке, склонившийся под тяжестью утвержденного на его плечах большого круга. В центре круга нарисован солнечный лик с расходящимися во все стороны лучами, каждый из которых заполнен цифирью.

Этот рисунок, заставляющий вспомнить народную русскую графику, легкие и быстрые линии набросанных пером иллюстраций, помещенных в книге и представляющих собою собрание типов конца прошлого и начала нынешнего столетия, – все это позволяет узнать художника Николая Кузьмина. Рука Кузьмина, энергичная и вместе с тем изящная, знакома широкому кругу любителей книжного рисунка вот уже тридцать семь лет, – с тех пор как вышло в 1933 году иллюстрированное Кузьминым знаменитое издание «Евгения Онегина». Рисунки в этой книге выполнены все тем же кузьминским пером, в шестидесятых годах, таким же уверенным, как в самом начале тридцатых.

На этот раз Кузьмин не только иллюстратор, но и автор книги.

В книге рассказывается о детстве и отрочестве художника, о людях, среди которых он жил. Но это не воспоминания, скорее – автобиографические рассказы. Каждый из них отлично написан, и расположены они с точным чувством композиции. Большие сюжетные рассказы, где людей соединяют события, в которых они участвуют, перемежаются рассказами, небольшими, эскизными, изображающими то черту характера, то бытовую подробность, жанровую сценку, пейзаж… Такое чередование усиливает естественность, достоверность, потому что и в жизни так оно все бывает переплетено.

Книгу эту интересно читать, хотя обитатели уездного городка, о которых рассказывает Кузьмин, принадлежат к тому отошедшему в прошлое миру, какой блестяще запечатлен старой русской литературой. Причина этого интереса не только в том, что здесь формировался характер замечательного советского художника, иллюстратора «Евгения Онегина» и «Графа Нулина», «Левши», «Записок сумасшедшего» и «Плодов раздумий» Козьмы

Пруткова, что отсюда унес он первый и, быть может, самый дорогой запас жизненных впечатлений. Сколько ни писали о людях, подобных тем, среди которых начинал жить Кузьмин, он все же по-своему рассказал о всех этих мелких ремесленниках, острословах и философах, об учителях реального училища, об уездных дворянах, в дома которых ему, сыну портного, можно было войти лишь в качестве репетитора не очень успевающих в науках дворянских недорослей.

Вот как рассказывает Кузьмин о своем знакомстве с уездным предводителем дворянства Ширинкиным, сына которого, Пьера, он должен был подготовить к экзамену на вольноопределяющегося. Сперва он сообщает, что кабинет предводителя «был похож на моленную, потому что в углу здесь стояли в три ряда иконы в богатых ризах, перед которыми „горели цветные лампадки, хотя день был будний“. Затем рисует самого хозяина, грузного мужчину лет пятидесяти пяти, с короткой шеей, бычьим взглядом из-под тяжелых век и квадратной бородой „железного цвета“. После этого передает, как предводитель „принял“ его руку в широкую ладонь, „поклонился чуть ли не в пояс“, заботливо усадил, уселся напротив, осведомился о здоровье папаши и о том, много ли у того работы, расспросил о планах юноши, обеспокоившись, не помешают ли репетиторские занятия его успехам. Всем этим, признается рассказчик, Ширинкин вызвал у него восторженную мысль: „Какой добрый, какой любезный, какой отзывчивый слон, даже в это вникает! Вот какие бывают настоящие-то аристократы!“ Однако предводитель, поговорив о вреде курения, сославшись со вздохом на волю всевышнего, когда речь зашла о малых знаниях его сына, осведомился наконец и о том, сколько желает получить за свои труды репетитор. Тот назвал сумму, назначенную директором реального училища, по чьей рекомендации он пришел. Предводитель поглядел ему ласково в глаза, потрепал по колену, выразил надежду, что они поладят, и… „предложил ровно половину“.

Здесь даны не только обстановка и характер, но и время. Предводитель дворянства, изображенный Кузьминым, – это ханжа и кулак, возросший в победоносцевскую пору, ничуть не похожий ни на вольтерьянцев, ни на крепостников тургеневских времен, весьма далекий и от обнищавших бунинских дворян.

Становится понятной одна из особенностей Кузьмина-иллюстратора – редкостное чувство времени во всех его подробностях, позволяющее художнику как бы жить в избранном им для иллюстрирования произведений. Вообще, думается мне, книга эта многое раскрывает в самой природе искусства, и не

только искусства книжной графики. В рассказе «Судья и Венера» Кузьмин вспоминает, как в доме судьи, обладавшем целой полкой изданий по истории искусства, он предавался занятию, которого нет слаще, – смотрел картинки. «Я ходил одурманенный обилием впечатлений, – рассказывает он. – Вереницы образов пылали в моем мозгу: богини и мадонны, рыцари и нимфы, пустынники и гуляки, черти и ангелы, папы и кондотьеры, менялы и нищие…»

Но искусство, поэзия были не в одном доме судьи, не только на полках уездных книголюбов. В русской провинции, где рос Кузьмин, существовало еще и то, что я назвал бы поэзией народного бытия. Я имею в виду выработанные народом нравственные установления и поэтические обычаи, чувство природы, знание трав и цветов, сказки, песни, могучую стихию языка и то так называемое народное искусство, которое в виде ли лубочной картинки, расписанной деревянной чашки, глиняной свистульки или полотенца с кружевом, сплетенным бабушкой, с детских лет окружало Кузьмина.

Я не случайно так подробно описал рисунок на суперобложке, напоминающий лубочную картинку, в которой удивительным образом соединились пережитки некоей древней лженауки, вроде астрологии, с чем-то по-ярмарочному грубым и броским. Должен заметить, что автор с одинаковой естественностью обращается к античной мифологии и к тому, что можно бы назвать фольклором уездной мастеровщины. Столь же мастерскую смесь представляет собою и язык рассказов, в которых мещанский и крестьянский говор свободно соединяется с языком книжным, причем последний, в свою очередь, состоит из языка письмовников, церковных книг и языка собственно литературного. Мне кажется, что все это говорит не только о стиле писателя Кузьмина, но и о самой сути всего его художественного творчества. Слияние культуры книжной с культурой народной составляет идущую еще от Пушкина традицию русского искусства.

Е. Дорош

Бабушка Настасья Семеновна

– Бабушка, подлей молочка.

Бабушка подольет, но непременно скажет:

– А ты, Колюшка, зачерпывай молочка поменьше, а кашки побольше: молочко-то нынче шильцем хлебают.

Я ем кашу, а бабушка сидит напротив. Перед нею мягкий валик, весь утыканный булавками по бумажному узору. От булавок тянутся на нитках палочки – коклюшки. Бабушка плетет кружево – конец на полотенце. Среди узора на кружевах читаются буквы: ТАВО ДАРЮ. Другой конец, на котором написано КАВО ЛЮБЛЮ, – уже готов. Подряд получится: КАВО ЛЮБЛЮ – ТАВО ДАРЮ.

Бабушка моя, Настасья Семеновна, – кружевница. Смолоду она была крепостной господ Карташевых в Тамбовской губернии. Как-то ее барыня вздумала похвастаться перед приезжей гостьей искусной работой своих крепостных кружевниц. На одном узоре завистливый глаз гостьи обнаружил узелок. А на хороших кружевах узелочкам быть не полагается.

– Чья работа?

– Настькина.

Разгневанная барыня приказала ее наказать. Настьку высекли.

– Бабушка, а больно секли?

– Да уж небось не гладили, – говорит бабушка беззлобно.
– Бабушка, а ты бы от них убежала.
– И-их, Колюшка, куда убежишь!

Мать сажает меня в печь

Верно, я был блажной младенец, если мать решилась на такое крайнее средство. Насоветовала ей, молодой, неопытной матери, это испытанное «средствие» от детского «крику» бабка Анисья, наша дальняя родственница. Бабка знала все, что полагается делать во всех случаях жизни: при сватовстве и на свадьбе, на похоронах и крестинах, знала, по каким приметам покупать корову или петуха, врачевала болезни и толковала сны. Указывала, к какому святому в каком случае обращаться: к Антипию – от зубной боли, к Гурию, Самону и Авиву – от лихого мужа, к великомученице Екатерине – при трудных родах, к Сергею Радонежскому – когда дите тупо к учению.

С годами она все более теряла свое положение оракула в нашем семействе, но появлялась у нас при всяком семейном событии и по всем большим праздникам. Сидит, бывало, у стола – грузная, крючконосая – чистая ведьма, пьет чай с блюдечка и жундит что-нибудь свое:

– В Бакурах, бают, корова отелилась первым телком – половина бычок, половина мальчик. То-то грехи…

Мужа своего, пьяницу, она называла «мой»…

– Мой-то наглохтился ономнясь – лыка не вяжет. Портки надел задом наперед, шарит руками, а сам бормочет: «Ни тебе застежечки, ни тебе опоясочки»… Надселась я над ним со смеху, согрешила, грешница…

– Дуня-Пятка, меня-то не спросившись, новую корову купила, да оказалась – тугосися. Совсем обезручела, раздаивамши…

– К Дурнобрагиной вдове змей летать начал. Каждый вечер искрами над трубой рассыпается. Она, как прощалась с покойником-мужем, его в голые губы поцеловала. А потом все плакала да убивалась. Вот он и начал к ней ходить. Сидит за столом, никого в избе нет, а она с «ним» разговаривает. Хотят попа звать – отчитывать.

Но мать теперь уже не верила в бабкину мудрость. Она приохотилась читать журнал «Здравие семьи», стала разуметь и про микробов, и про гигиену, и про инфекцию, и про дезинфекцию, ввела в употребление зубные щетки и зубной порошок и стала мазать порезы йодом, вместо того чтобы класть на них паутину.

Она самолично провела в семействе великую реформу: купила дюжину жестяных эмалированных тарелок и в один прекрасный день за обедом налила каждому в тарелку порцию супу. До этого у нас ели по-дедовски, из общей посуды, причем полагалось сперва черпать ложками жидкое варево, а затем отец стучал ложкой по краю чашки, и тогда все принимались «таскать с мясом».

– Мама, расскажи, как ты меня в печь сажала.

– То-то глупость. Очень уж ты меня криком донял, измучил – спать не давал. Вот я и решилась. Пришла бабка Анисья, обмазали мы тебя всего тестом из квашни, посадили на лопату – и в печь. Печь-то, правда, уже не больно жаркая была – после обеда было дело-то, – и подержала я тебя в печи сущую малость. А все-таки ты, верно, очень испугался и кричать перестал. Принялась я тебя отмывать из-под теста, а оно на волосиках по всему телу присохло – никак не отмоешь по первому разу. А тут, как на грех, возьми да заявись твоя крестная Марья Егорьевна: «Да где же мой крестник, да где же ты его от меня прячешь?» А мне тебя и показать стыдно: весь-то ты в засохших катышках, как поросенок из лужи.

Среди наших барынь считалось, что у мамы «есть вкус». Она умела подобрать аграмант для отделки и вставку для платья в тон, славилась талантом составлять букеты. Заказчицы за ней ухаживали и на именины присылали подарки – чашку чайную с розаном, варенья баночку, конфеты «атласные подушечки» в жестяной коробке.

Для меня она крошила ножницами в мелкое крошево всякую пестрядь со стола – лоскутки шелка, цветную синель, шерсть, гарус и, ссыпав в конвертик или в тюричок из бумаги, учила смотреть: «Гляди-ка – сады растут, цветы цветут!» Я глядел через дырочку внутрь и впрямь видел райские кущи.

– Мама, а расскажи, как вы с бабушкой в деревне жили.

– Мамашина родина была деревня Вороновка Кирсановского уезда, они с папашей были крепостные господ Карташевых. Папаша был садовник, а мамаша – кружевница.

Потом, после воли, папаша служил в садовниках у старой барышни Лебедевой в Болотовке. Барышня и сама была в преклонных летах, а еще был жив и отец ее, старый барин Матвей Филатыч, – ему больше ста годов было. В этой Болотовке нашего папашу и похоронили – умер скоропостижно от разрыва сердца. Случилось так: съемщики в барском саду побили работника, а папаша побежал заступаться, ух горячий был! Да не добежал, упал дорогой. Привезли его домой на подводе, а через малое время он умер. Даже попа не успели повестить.

Нас у мамаши осталось четверо: Поля, Наташа, я да брат Вася, еще вовсе маленький.

Сестра Поля пошла служить горничной к господам Баратынским в их имение в селе Вяжле, в двенадцати верстах от Кирсанова, муж ее Ефим там же в лакеях служил. Барин Баратынский пил без просыпа, а жену свою истязал. Она кричала: «Спасите!» – вбегали слуги и отбивали ее, как голубку у коршуна. Я его видела один раз, когда девчонкой ходила пешком в Вяжлю к сестре Поле. Я шла мимо барского дома, гляжу – батюшки! – у открытого окна стоит сам барин, толстый, страшный, и смотрит на меня пьяными глазами. Я испугалась, даже ноги затряслись, никого кругом нет, куда бежать – не знаю.

Меня сестра Поля водила тогда же в лес возле имения, показывала там дом, называется *грот*. Домик деревянный, как кружево, весь вырезной, а вокруг него на земле – чугунные плиты заросли травой, а постучишь – под ними пустота. Рассказывали, что внизу под домом подвал, куда при крепостном праве людей сажали на цепь. В этом доме никто не жил, но содержали его в порядке, а когда к господам приезжали гости, устраивали в нем пиры. А рядом был пруд, только почти весь высох, и купальня была, и мост, и столбы с фонарями, и ворота каменные.

Мне тогда было двенадцать лет, и мамаша меня отдала «в люди». Мамашин брат, дядя Митя, работал в саду у барина Вольгортова и определил меня к управляющему в няньки. Управляющий был строгий, вставал рано, когда все еще спали, и я вставала вровень с ним, собирала ему завтрак, прислуживала, что он спросит подать. А там и девочка проснется, с ней возишься: то кормить, то замывать, то спать укладывать, то пеленки стирать. Ох и тосковала я тогда по дому, совсем ведь еще девчонка была.

А сам барин Вольгортов приезжал в именье редко, только на охоту. Заявлялся со сворой собак и охотников, и начиналось веселье. Барыня, его жена, была красавица, ходила в шелковом голубом сарафане, серебряные пуговицы по переду. А в доме тогда полно гостей, со стола не сходят всякие вина да угощения. Сам барин – веселый, большого росту, шумоватый.

Я к шитью была очень способная, и управляющего жена мамаше посоветовала отдать меня в Кирсанов, в мастерскую к Насильниковым, учиться на портниху. На мои сборы дядя Митя (он холостой был) дал нам двадцать рублей денег, за восемнадцать рублей мне справили пальто теплое, на вате, с воротником из плюша – такой ворсистый, как мех!

А в Кирсанове уже жила сестра Наташа, ее в монастырь послушницей приняли – двоюродные тетки помогли.

Сама мамаша служила тогда в Семеновке горничной у господ Негребецких. Один раз кучер от них приезжал по делу в Кирсанов и обратно ехал порожняком. Мамаша его попросила, чтобы он меня захватил, так он меня в Се-меновку на тройке лошадей доставил! Местность там хорошая, пруд большой, обсаженный ветлами, ежевики в кустах было – страсть сколько!

У Насильниковых я шесть лет училась и уже в мастерицах была, когда мы с Васей познакомились. Он у портного Гузикова тоже мастером работал.

Его родители крепостные, такие же вроде нас безземельные крестьяне – дворовые. Должность у твоего дедушки Василия была совсем пустая – караульщиком при барских купальнях, а семья большая: девять человек детей. Жили они бедно.

Васины мать и отец умерли в недолгом времени один от

другого, осталось девять сирот, всех их разобрали по добрым людям. Вася жил у Гузикова в семье, как свой, и учился ремеслу до двадцати лет. Когда мы с Васей надумали пожениться, приехала сестра Поля, сосватала нас и благословила образом, вот этим самым, видишь, в нем за стеклом свеча венчальная?

Мы повенчались и переехали в Сердобск. Сняли квартиру у Лушниковых, стали оба работать. Сначала заработали кое-как на машину швейную, купили в рассрочку, а там дело пошло, стали брать и хорошие заказы.

На катке и около

Каток – это стол на козлах, на котором сидят и шьют, поджав под себя ноги, портные. При их сидячем ремесле портные большие охотники до всяких говорунов и рассказчиков. Посидеть с разговорами у катка приходили к нам разные люди, а чаще всех Пров Палоныч, маленький, чистенький старичок в поддевке и ладных сапожках на высоких каблуках для росту. Человек он досужий, бывалый, краснобай, большой знаток в церковной службе и любитель церковного пения.

Загадывает загадки, вроде: «Что стоит возле чаю?» или «Когда вознесенье бывает в воскресенье?» Выслушав всякие вздорные ответы, изобличающие портновское невежество, назидательно объясняет, что праздник вознесения бывает в сороковой день после пасхи и поэтому никогда не приходится на воскресенье, а всегда на четверг, д возле «чаю» стоит «воскресения мертвых», ибо в «Символе веры» сказано: «Чаю воскресения мертвых».

Придет и озадачит вопросом:

– Читал, Вася, в газетах про новость?

– Насчет чего, Пров Палоныч?

– Да вот пишут: объявился за границей в городе Лионе аптекарь или, лучше сказать, химик – выдумал состав такой, якобы сильно укрепляющий память. Распубликовал во всех газетах анонс: кто выпьет три бутылки того состава, тот настолько сильно окрепнет памятью, что не забудет ничего, пока жив. Всякую книгу стоит только прочитать один раз, чтобы запомнить от слова до слова. Или, например: двенадцать иностранных языков можно выучить за полгода – только не ленись да принимай капли нового изобретения! Купцам не будет надобности заводить бухгалтерские книги, музыкантам глядеть в ноты, актерам долбить роли – все будет сидеть в башке крепко, как гвоздем вбито!

– Ну, это хоть бы и мне бутылочку! А то намедни пришел богдановский кучер, а я и забыл его имя-отчество. Ну никак не вспомню, хоть убей! А как ушел он, вспомнилось – Сосипатр Захарыч.

– То-то и оно! Посуди сам, какая выгода – ученикам, скажем. Иной лоботряс сидит над книжкой, долбит, долбит – только время теряет без толку. Или тем же попам да дьяконам: сколько годов они учатся, чтобы вытвердить свои «паки и паки»! А тут лишь знай вкладывай в мозги, как в казначейство, – все будет в целости.

Так вот-с, начал этот химик торговать своим эликсиром,

раздул дело, дальше – больше, пятое-десятое, рыбное-грибное, нет от людей отбою…

– Вошел, значит, в славу…

– Да-с: процвел яко жезл ааронов! Вот один богатый господин посылает ему из Парижа деньги и заказ: так и так, прошу выслать дюжину бутылок по вашему прейскуранту, адрес такой-то…

Хорошо-с, но только ждет-пождет тот заказчик – никакого ответа! Он шлет второе письмо, с сомнением: как же так, деньги посланы, а товару нет, получена ли вами посланная сумма? Опять никаких последствий. Тогда он ему, этому химику, пишет уже сердито и с амбицией: что же, мол, мил человек, выходит это с твоей стороны сплошное надувательство, а коли так – деньги обратно, а не то – в кутузку!

И уж после этого приходит от химика ответ: «Уважаемый клиент, посылаю вам дюжину бутылок моего состава для укрепления памяти, а за задержку извините великодушно: заказ ваш я давно получил, да отложил куда-то адрес и совсем о нем позабыл!»

– Вот так химик: другим память укрепляет, а свою растерял!

– Известно: сапожник без сапог!

– Он, дурак, хоть не писал бы, что позабыл-то, не срамил бы свою фирму!

– Это все ихняя реклама, – заключает Пров Палоныч глубокомысленно.

– То есть это в каком же смысле?

– А вот дай сюда для примера хоть эту шпульку с нитками. Гляди, что на ней написано: «К. Коатс. Гарантировано двести ярд». Ну-с, так: Коатс, фабрикант, англичанин, – это нам известно. А как ты соображаешь насчет «гарантировано двести ярд»?

– Что-нибудь насчет капиталу, Пров Палоныч?

– Не туда метишь. Это означает: «Ручаюсь за двести ярд». Он, англичанин, не желает на русские аршины мерить, он тебе заявляет: «На шпульке намотано двести ярд нитки». Поди его учти, если мы ихним ярдам не обучены! Выходит, что и написано это для форсу, для рекламы!

– А в Кирсанове я у одного портного видел вывеску – два льва тащат в разные стороны брюки, и надпись: «Хотя и разорвали, однако не по швам»! Вот реклама!

– Реклама – для барана, а для свиньи и так сойдет, – сочиняет тут же Тимоша Цыбулов, наш доморощенный острослов и балагур. – А вот я вам расскажу тоже историю про одного такого же вот профессора кислых щей, составителя ваксы. Было это, – заводит Тимоша, – когда ничего еще не было. Не было ни неба, ни земли, ни воды, ни лесу. Только стоял посередке один плетень, а у плетня сидел сапожник и тачал сапоги. Заказ был спешный: всем большим богам по сапогам, а малым богам по котам…

Неожиданно из-под катка раздается пьяное мычание

– Кто сей, яко скимен обитаяй в тайных? – спрашивает Пров Палоныч, ничуть, впрочем, не удивившись.

– Аким-печник запил.

Аким, чинивший в доме печи, пришел с утра пьяный и завалился в темном углу под катком на ворохе старых лоскутов и кромок. Как проснется, вылезет из-под катка, оборванный и грязный, зеленолицый и лохматый, и будет канючить пятачок на опохмелку.

Запой! Сколько их, запойных пьяниц, прошло перед глазами моего детства! Вот картузник Серков стоит, шатаясь, у катка, глядит, ничего не видя, мутными красными глазами, не говорит ни слова, только зубами скрипит. Широкая его морда в ссадинах и кровоподтеках, он рван и бос: жена спрятала сапоги и одежонку, а сама убежала к соседям. А ведь каким щеголем заявляется он в трезвом виде: хозяин, мещанский староста! Рубашка бордовая сатиновая, вышитая цветами, картуз с матерчатым козырьком надвинут до самых ушей, а из-под картуза завиваются кудри. Держится он хмуро, степенно, все молчит – слова не дощупаешься, только на щеках все время ходят желваки от туго стиснутых зубов.

Сейчас его мучит жгучая жажда опохмелиться, он будет стоять и скрипеть зубами, пока отец не сжалится и не даст меди на шкалик.

…Сапожник Стулов, здоровенный, бородатый, топорной выделки мужик, стоит и молит: «Вася, дай двугривенный!» Отец молчит. «Дай, Вася, эх!» – «Шкаликом обойдешься!» – «Что мне по моему росту шкалик – однова глотнуть! Дай, бога ради, на полдиковинки!» После запоя он появится почерневший и мрачный и буркнет: «Давай, какую обувку починить надо», – томится стыдом за свою «слабость», торопится отработать занятый двугривенный.

…Балагур Тимоша Цыбулов тоже запивает, но этот и во хмелю ласков, мил, забавен – то сыплет без умолку прибаутками, то пляшет, приговаривая:

Разгулялися заплаты,
Расплясались лоскуты!

А как одолеет его хмель, лезет тихонько под каток отсыпаться. А вот портной Мишка Губонин – во хмелю нехорош: глядит злыми глазами исподлобья, кривит рот в ядовитой усмешке, задирается, лезет на скандал.

– Я вас всех наскрозь вижу! Ты, Василь Васильевич, тоже, поди, не без шмуку кроишь. Я все-е знаю! На Зайцева, купца, серый пиджачный костюм ты шил? Обузил, явно! Я у обедни был, стоял близко, все в подробности обсмотрел!

– Шел бы ты, Михаил Семеныч, проспался»!

– Ты думаешь, я пьяный? Не-ет, брат, я поумнее иного трезвого.

Приходит заказчик, и разговоры прерываются. Мишка тихонько исчезает. Он сам человек мастеровой и даже во хмелю помнит, что барин-заказчик – это вещь сурьезная.

Отец уходит за перегородку на примерку. Слышен его голос

– Сию минутую-с… Будьте покойны-с… Не теснит-с? Проймочку вынем. Морщит-с? Это ничего-с, отгладится… Под лацканчики – сорочку, волос, петли – гарусом… Все по фасону, останетесь довольны…

Разговаривает он с заказчиками каким-то особенным, ласковым голосом, чуть сюсюкая, как разговаривают с малыми детьми. От кого он перенял эти приемы обхождения? От своего прежнего хозяина, верно.

Заказчики были хорошие и плохие. Хороший заказчик – это такой, который из себя важную особу не корчит, не придирается зря, ежели что малость и не так; получив заказ, платит деньги сразу, а если заказ пришлют ему на дом, то и мальчику даст двугривенный.

Плохой заказчик любит капризничать – то ему широко, то узко, здесь жмет, там морщит, заставляет по пять раз переделывать, вгонит всех в пот, в спешку, а потом прикажет:

– Заказ пришлите с мальчиком!

Отец посылает сверток с Афоней:

– Смотри, без денег не отдавай!

Афоня возвращается смущенный.

– Отдал деньги?

– За деньгами велел завтра прийти.

– Ну, теперь будет целый год завтраками кормить. Тоже баре – на брюхе шелк, а в брюхе щелк.

А бывает, что в иной день в мастерскую никто и не заглянет с улицы. На катке тихо. Отец сидит шьет молча, вздохнет и скажет, будто про себя:

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал.
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял.

Или еще:

Нет, я не Байрон *(отец произносил БайрОн),* другой,
Еще неведомый избранник,

Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.

Это стихи нашего земляка – Чембарского уезда барина Михаила Юрьевича Лермонтова. Отец многие из них знает наизусть: из «Демона», из «Мцыри», из «Боярина Орши». Несколько разрозненных томов Лермонтова лежат в ларе на погребице: там сохраннее, а дома держать – растащат. Там же валяется тоненькая книжка сочинений местного поэта Степана Грачева.

Ну, этот, конечно, пожиже будет, хотя и его стишки про спор нюхательного табака с табаком листовым тоже складно сложены:

Расскажу я вам рассказ,
Он довольно новый.
Так случилось как-то раз
В лавочке торговой.

Весь товар-то был пустяк:
Иглы да булавки.
Главный торг имел табак,
Даже тесно в лавке…

Или еще стихи про то, как все семейство купца Четверикова в Саратове зарезал разбойник:

И разбойник не чужой —
Свой же был работник!

По праздничным дням в мастерской совсем пусто. На катке прибрано: колодочки и утюги задвинуты в угол, просечки, наперстки, крючки, пуговицы и всякая мелочь сложены в ящик, коричневые паленые «отпарки» – тряпки, через которые гладят утюгом, – развешаны над катком на веревочке.

Все разбрелись кто куда. Остался один Афоня. Он из дальней деревни, идти ему некуда. Приятелей он не завел, ребята на улице дразнили его «косоруким». Он был робок, выражался по-деревенски, его поднимали на смех. Он вздумал похвастать: «А у нас на селе девки тоже ходят нарядно. Платки носят по рублю, а то и боле». – «Эх ты, деревня: „А то и боле“! Двинь его, Петька, наотмашь, как чертей лупят!» Афоня пришел домой, утирая слезы не столько от боли, сколько от обиды. Пробовал Афоня и сестрам Зеленцовым «подкашлянуть» вечерком, но в ответ получал презрительное: «И без сопливых обойдемся». А чего нос задирают? Про них парни на улице поют: «Зеленцовы девки модны, по три дня сидят голодны».

Скучно Афонюшке да на чужой сторонушке.

Он растянулся на катке брюхом вниз и громко читает вслух, водя пальцем по строчкам, «Новейший песенник»:

Вот приехали два брата
Из деревни в Петербург.
Одного зовут Ерема,
А другого-то – Фома.

Ах, дербень-дербень Калуга,
Дербень – Ладога моя…

Круг царя Соломона

Младший сын бабушки – дядя Вася – служил приказчиком в магазине купца В. П. Попова «Бакалейные, галантерейные и проч. товары». Дядя Вася был молод, зелен, горяч и неуживчив: не прослужив и года, он поссорился с хозяином. Попов его выгнал и в отместку за строптивость пустил слух, что выгнал Ваську за воровство. Худая слава хуже волчьего билета. К кому ни ткнется дядя Вася наниматься – везде ему отказ.

Наступили для дяди черные дни. Он старался уйти из дома куда-нибудь с утра пораньше, чтобы никому не мозолить глаза. Бабушка щуняла его беспрестанно:

– Ну куда снарядился? Диви бы за делом каким, а то опять шалберничать, опять слонов продавать!

Дядя Вася угрюмо молчит, только хмурит свои густые, сросшиеся на переносице брови.

– Да ты не надувай губы-то! Сердит да не силен – дерьму брат! Шел бы ты лучше к Василь Петровичу, поклонился бы ему, он тебя расказнил, он тебя и помилует. С богатым, гляди-ка ты, не перетянешься!

– Куда я пойду, мамаша? – говорит дядя плачущим голосом. – Помилует он, черт толстопузый, как же, дожидайся! Я ему под горячую руку такого напел, что он век будет помнить! Нет уж, видно, не миновать мне куда ни на есть подаваться…

– Куда тебя шут понесет, омежной! Ох, парень, горюшко мое! Видно, не учила я тебя смолоду. Правду говорили старые люди: учи, пока чадушко поперек лавки ложится, а как вдоль протянется – тогда уж поздно. Набаловался ты с ребятами в рюмочку глядеть да в колбаску вилочкой тыкать…

Дядя Вася, скрипнув зубами, хватает фуражку и убегает на базар пытать счастья.

Бабушка тяжело вздыхает, оставляет коклюшки и раскрывает свой сундучок. Крышка от сундука оклеена изнутри пестрыми этикетками от чая, а среди прочего бабушкина добра в нем хранится ветхий листок с картинкой и надписью: «Гадательный круг царя Соломона, или Предсказатель будущего в 150 ответах». На картинке изображен голый старик с повязанным под брюхом полотенцем. Он, согнувшись, держит на плечах большой круг с цифрами. Из середки круга глядит солнечный лик, а цифры идут от солнца как лучи. Наставление к гаданию гласит: «Кто желает узнать будущее, то взять зерно и бросить в середину круга и под тем числом узнать судьбу, упадет зерно, искать ответ на задуманное».

Бабушка расправляет листок на столе и бросает зерно на покрытый цифрами «Круг царя Соломона». Она неграмотна; ответ по таблице нахожу ей я. Ответ оракула таков: «Баба бредит, да только никто не верит, без хлопот зажми свой рот, а на чужой каравай рот не разевай». Непонятно, а если подумать да разобраться, так и совсем нехорошо. Еще пуще тоска от этого оракула.

Чтобы пристроить дядю Васю к какому-нибудь делу, отец решил снять на лето фруктовый сад за городом, верстах в трех от дома, а дядю посадить в нем караульщиком.

– Задаром сдаю, истинно! – уверял мещанин в поддевке, хозяин сада. – Да ты, Василь Васильич, одним сеном эти деньги оправдаешь! А ягоды? А яблоки? Пойди погляди, какой цвет в этом году – сила!

Ходили глядеть всем семейством, как цветут яблони. Сад расположен был по склону горы: наверху за садом – мелколесье, внизу – озеро, справа и слева за плетнями – садовые участки других владельцев. Среди сада стояла крытая камышом изба, а на горе – шалаш из хвороста. На озере у поросшего ольхой берега был привязан челнок. Чудесный сад! Великолепный сад!

– Рыбы в озере не перетаскаешь! – нахваливал хозяин. – Карасики, линьки: хочешь – уху, хочешь – поджарить.

Сад цвел хорошо, слов нет. Но теперь тревожили новые заботы. А какова будет завязь? А ну как хватит утренний мороз? Иль червь нападет? Цыплят по осени считают. Было решено, что дядя Вася переберется в сад немедленно. Я поохотился жить вместе с ним, как только кончатся занятия в школе.

И вот мы живем в саду, одни, на приволье. Только по воскресеньям приходит в сад все наше семейство «блаженствовать» на целый день. Изредка после работы прибегает отец ловить с дядей рыбу бреднем.

Дяде Васе в саду скучно: что за занятие, в самом деле, для молодого малого жениховских лет – сидеть сторожем! Это дело стариковское. Он слоняется по саду, посвистывает, томится, то над озером посидит, то, глядишь, спит под кустом, натянув на голову драную ватолу. Я не скучаю: у меня свое занятие – глотаю запоем в «Ниве» исторические романы Всеволода Соловьева и Салиаса.

Хожу я за «Нивой» в город к барину Дроздову, который сиднем сидит в кресле у окошка и с утра до вечера глядит на улицу Калгановку. Мой приход для него – истинное развлечение: он с утра иззевался от скуки и с жадностью принимается меня

расспрашивать про разные разности: много ли яблок уродилось в саду? А кто соседи, кто слева, кто справа, кто у них сторожем? Какая рыба ловится в озере? Не поступил ли на должность дядя Вася? (Дядины беды ему досконально известны.) Оглянувшись на дверь, он понижает голос и спрашивает, ходят ли к дяде Васе бабенки в шалаш. До всего ему дело.

Я отвечаю кое-как; мне не терпится добраться до книжного шкафа, битком набитого переплетенными томами старых иллюстрированных журналов. Наконец я вырываюсь от Дроздова с вожделенной добычей. От жадности я забираю сразу два годовых тома «Нивы» и, обливаясь потом, мученически тащу их по солнцу три версты до сада. Зато развлечения мне на всю неделю. Дядя Вася до чтения не охотник, разве посмотрит картинки. Он бродит по саду, постреливает из шомпольного ружьишка в ворон; придет время обеда или ужина – разведет костер, варит в котелке кашицу.

Иногда на дым придет к костру глухой старик – сторож из соседнего сада – и спросит всегда одно и то же:

– Сколько время, Василь Михалыч?

Дядя Вася крикнет сперва ему в ухо: «Целое беремя» или «Без четверти пять минут», потом взглянет на свои серебряные карманные и ответит по-настоящему. Старик щерит беззубый рот – понимаю, дескать, шутку, – помолчит, потопчется, а потом добавит нерешительно:

– А не разживусь я у вас хлебушка? Штой-то мне нонче запоздали принести.

Ему насыпали в шапку все завалявшиеся у нас куски черствого хлеба и приглашали к нашему котелку.

…Настали теплые ночи, мы перебрались спать в шалаш и просыпались утром под гомон птиц. А в саду и в лесу за садом шла своя тихая торжественная жизнь.

Каждый день приносил что-нибудь новое. Отцвели ландыши и купавки, зацвели на лугу у озера лютики, гравилат, раковые шейки, калина. Вдоль дорожки распустились бутоны желтого шиповника, золотые цветки величиною в ладонь ярко горели на темной зелени. На озере расцвели водяные лилии и кувшинки. А когда солнце поднималось высоко и воздух начинал струиться от зноя, сад замирал в тишине и оцепенении, только пчелы гудели в цветах липы.

Однажды в июле месяце у нас кончились припасы, и дядя Вася послал меня в город за хлебом. Был ветреный день, небо было грифельного цвета. По улицам ветер гнал столбы пыли. Наш дом с виду поразил меня чем-то тревожно-необычным. Почему в такой жаркий день закрыты окна? Почему на запоре калитка и

дверь? Почему никого не видно?

Я постучался-открыл отец. Он посмотрел на меня испуганно, будто не узнал.

– Куда ты? Нельзя: доктор не велел! – сказал он почему-то шепотом. – У нас в доме дифтерит.

Заболели сразу двое – сестра и маленький брат.

– Погляди на них в окошечко.

Я залез на завалинку и прильнул к стеклу-в кровати лежала Маня, а на сундуке – маленький. Я стукнул в раму. Сестра повернула на стук голову, узнала меня и улыбнулась жалкой, страдальческой улыбкой. Отец дал денег и велел покупать хлеб на базаре.

– Да не таскайся зря в город – почти в каждом доме зараза.

Я вернулся в сад к дяде с сиротским чувством.

А через несколько дней пришла под вечер тетка Поля и, утирая слезы, сказала, что Маню схоронили, а завтра будут хоронить Пашу, но приходить домой еще нельзя, пока не сделают дезинфекцию. Она развернула белый узелок и поставила на стол тарелку с кутьей – сладкой рисовой кашей с изюмом. – Помяните за упокой младенцев Марию и Павла! – И мы, перекрестившись, стали с дядей Васей есть кутью.

После похорон мать перестала совсем ходить в сад: ее все тянуло на кладбище, к свежим могилкам. Отец приходил изредка, но был молчалив, рассеян, ко всем делам безучастен. А сад теперь-то как раз и требовал хозяйского внимания. Начали созревать и падать яблоки. По утрам сторожа из соседних садов сходились и рассказывали истории, как к ним «лезли», а они стреляли в воров пшеном и солью. Яблоки лежали повсюду кучами, и девать их было некуда.

Дядя Вася решил показать распорядительность, нанял подводу, и в одно из воскресений мы поехали с ним по деревням торговать яблоками. Мы выехали, когда уже ободняло.[1] День жаркий, небо без облачка, лошадка плетется еле-еле. Мы едем полем, озимые хлеба почти созрели, над желтыми нивами в знойном небе трепещут кобчики. На горизонте насыпь железной дороги – одинокий разъезд без единого деревца, телеграфные столбы тянутся вдоль насыпи. Жарко, хочется пить. Но вот на пути овраг, поросший мелколесьем, внизу – прохлада, родник, обделанный срубом, голбец[2] с иконкой. Мы спускаемся напиться.

До ближайшей деревни Студеновки – двенадцать верст, но едем мы часа три, не меньше. То лошадь станет, то дядя Вася возится, поправляет упряжь и по неопытности делает это долго.

Деревня Студеновка – сонная, будто вымершая.

– Эй, яблок, кому яблок! – заводит дядя Вася бодро.

Шавки со всей деревни сбегаются облаять нас. Подходят белоголовые и голопузые ребятишки. Торговля меновая: за куриное яйцо фунт яблок. У нас тарелочные весы. Баба спрашивает:

– А кошек берете?

Срам какой: нас принимают за «тарханов», которые собирают по деревням тряпье, кости, кошачьи шкурки. Торговлишка у нас идет плохо. До праздника преображенья – «яблочного спаса» – взрослые люди в деревнях не едят яблок: считается за грех. Все наши покупатели – несмышленые сопляки. Дядя Вася уже без весу сыплет яблоки в картузы и подолы, но и при такой торговле добрая половина воза остается нераспроданной.

После Студеновки нам больше никуда не захотелось ехать, и мы повернули домой.

– Не вздумай рассказать кому, – говорит дядя дорогой, – что нас за «тарханов» приняли – сраму не оберешься!

Отец уже тяготился садом и не чаял, как с ним развязаться. Из-за недогляда все шло хуже некуда. Сгнило в стогах сено, сложенное непросохшим. Стога раскидали, внутри оказались черные заплесневелые ошметки, от которых корова воротила морду. Отец с досады продал весь урожай яблок оптом за полцены, и мы с дядей вернулись в город.

А по осени вся родня провожала дядю Васю на станцию. Он списался с земляком, который уехал прежде, и отправлялся теперь в Баку искать счастья. Бабушка, торжественная и грустная, в праздничном платье и в черном с цветами платке, сидела на вокзале, держа в руках узелок с пышками на дорогу. Она вздрогнула и испугалась, когда прозвенел колокол у вокзала. Все вскочили и засуетились.

– Сидите спокойно, – сказал станционный жандарм, – поезд только вышел, еще тридцать три минуты ожидания.

Снова сели, стали ждать. Подошел поезд.

– Стоянка восемь минут, – объявил обер-кондуктор в мундире с малиновым кантом, со свистком на пестром шнурке.

Пассажиры из вагонов побежали: одни в буфет, другие за кипятком на платформе. Дядя Вася и отец пошли по вагонам искать места. Вдруг пробило два звонка. Все бросились к вагонам. Одна баба бежала с пустым чайником: видно, не успела налить кипятку. Обер-кондуктор свистнул, паровоз загудел, поезд тронулся. Дядя Вася в открытое окно махал нам фуражкой.

Теперь бабушка живет в постоянной тревоге и все ждет писем. Дядя Вася письма шлет редко, пишет в них скупо,

отрывисто, загадочно, шутит невесело. «Жив, здоров, хожу без сапог, чего и вам желаю». Или: «Дела мои ни шатко, ни валко, ни на сторону». Или еще: «Живу хорошо в ожидании лучшего».

Бабушка всплакнет потихоньку и достанет из сундучка свой «Гадательный круг царя Соломона». Бросит на круг зернышко:

– Колюшка, посмотри, чего вышло.

Я читаю:

– «Ты хочешь узнать о важном деле, то лучше погадай на будущей неделе».

Бабушка мечет зернышко снова, и я опять ищу нужный номер. Ох, кажется, какая-то гадость: «Не верь обманам, тебе грозят бедами, змея ползет между цветами!»

У меня не хватает духу огорчить бабушку таким зловещим предсказанием, и я читаю ей другое, строчкой выше:

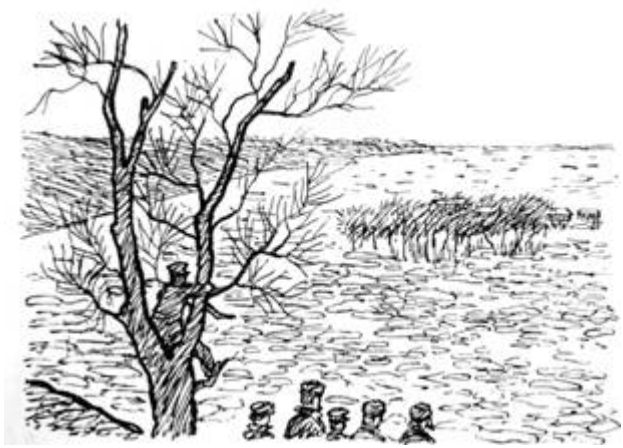
– «Получишь счастие большое и богатства сундуки, и золото к тебе польется наподобие реки».

Река, деревья, травы

Мы жили неподалеку от реки, и каждую весну полая вода подходила к самому нашему дому, а иногда заходила и на двор. Ледоход можно было видеть прямо из окон, но кто же сидит дома, когда на реке такой праздник? Весь берег чернел народом. С шипением и треском проносился мимо лед сплошным грязно-белым потоком, и если смотришь на него не отрываясь, то начинает казаться, что тронулся с места берег и вместе с людьми стремительно несется мимо остановившейся реки.

Кончалось половодье, и река отступала, оставляя на кромке разлива большие льдины, которые потом долго и медленно таяли, крошились, разваливались кучей голубого стекляруса и, наконец, исчезали, оставляя лужи.

Весь берег, грязный, взъерошенный после разлива, был затянут толстым слоем ила, на голых кустах ивняка висели космы старой соломы и всякого сору, принесенного половодьем.



Пригревало солнце, и берег начинал менять свою кожу: ил покрывался трещинами, лопался на куски, усыхал, и под ним открывался чистый белый песочек. Из песка вылезали молодые листья лопуха, сверху – зеленые, блестящие, с исподу – серые, бумазейные. Это не мать-и-мачеха, известная в Подмосковье; лопухи моего детства я видел здесь только под Каширой, на приокских песках, и с каким душевным трепетом вдыхал я их горький, единственный в мире запах.

Берег оживал. Голые прутья ивняка опушались зеленью. У самой воды торопилась раскинуть во все стороны свои красные нити и поскорее закрыть песок ковром из вырезных листочков и

желтых цветков гусиная травка.

Вдоль реки росли большие старые, дуплистые ветлы. Они зацветали, покрываясь крохотными желтыми пушистыми барашками. Сладкий аромат стоял тогда над ветлами, пчелы круглый день гудели на их ветках. Эти желтые барашки были первым лакомством, которое приносила нам весна: они были сладкими на вкус, и их можно было сосать. Потом цвет опадал в виде маленьких коричневых червячков, и ветлы одевались листом. Одни становились зелеными, другие – серебристо-сизыми.

Нет ничего красивее старых ветел. И теперь радуется глаз и трепещет сердце, когда где-нибудь у реки я вижу их величавые круглящиеся купы, но все они, кажется, уступают великолепию ветел моего детства.

Берег буйно зарастал густыми джунглями высокой безымянной травы с хрупким стеблем, капустного цвета листьями и редечным запахом; прелестными кустиками «божьего дерева» с кружевными, как у укропа, листьями и полынным духом; ползучим вьюнком с бледно-розовыми колокольчиками, пахнущими ванилью. Лужи у реки населялись всякой живностью: головастиками, улитками, водяными жуками.

Вдоль огородных плетней, на которых стадами высыпали красные козявки с двумя черными точками-глазами на спине, вырастали сочно-зеленый просвирник, глухая крапива, белена, которой мы боялись касаться, трава с неприличным названием и сладкими черными ягодами, лебеда и репейник. На улице перед домом разрасталась густым ковром – благо, что мимо никто не ездил, – трава-мурава.

На праздник преполовенья[3] на реке служили молебен с водосвятием, и взрослые обитатели обоих берегов, и

«мещанского» и «пахотного», начинали купаться.

Но мы, мальчишки, не ждали преполовенья и купались по собственному календарю, как только вода становилась теплой. Мы плескались на реке с утра до вечера, валялись на песке, лезли в воду и снова на горячий песок. На носах у ребят лупилась кожа, а домой к вечеру мы приходили с синими губами, дрожа от озноба, – закупались!

О лето! О солнце! О золотой предвечерний час после жаркого дня! Как солнечная пыль, светлыми точками толкутся мошки в тени ветел. Нагретый за день песок ласкает ноги. Мы срываем большие листья лопуха и делаем из них себе зеленые колпаки. На пальцах остается лопушиная вата и горьковатый запах лопушиного сока. Река под склоняющимся солнцем сверкает и искрится так, что глазам больно. Противоположный берег – в прохладной тени от кустов ветляника, в струях течения качаются коленчатые стебли водяного перца с розовыми висячими сережками, мелкие места у берега затянуты зеленой пленкой ряски.

Подрастая, мы каждый год открывали на реке всё новые, неведомые раньше владения. Выше плотины река была очень широкой. Переплыть реку за мельницей было достижением, которым отмечался важный рубеж детства. На лодке мы забирались все выше по реке, все дальше от города. Мы искали глухих мест, где могли бы чувствовать себя робинзонами. Заедешь в такое место рано утром – и до ночи не увидишь ни одного живого человека.

День у реки тянется долгий, великолепный, сияющий. Тишина. Изредка в омуте плеснется большая рыба. У берега стайками ходит рыбья мелюзга, водомерки скользят по воде, как конькобежцы, коромыслики носятся над водой и, грациозно трепеща крылышками, замирают на былинках.

К самому обрыву спускается крупный вековой лес. Когда зацветают в нем высокие черноствольные липы, воздух наполняется густым медовым ароматом и гудением пчел.

А узловатые дуплистые ивы на песчаном откосе под солнцем – серебряно-голубые. Они очень старые, и от долгой жизни, прожитой на просторе, каждая из них имеет свой приметный, неповторимо-трогательный облик.

Настает вечер. В розовом воздухе начинают носиться стрижи с пронзительным металлическим свистом. Мы садимся в лодку и не спеша едем домой.

В поздний час на реке в лунную ночь – волшебно. Тишина такая, что если бросить весла, то слышно, как стучит кровь в ушах. Иногда из далекой деревни по воде доносится лай собак. Полосы тумана раздвигают границы берегов, все кажется необычным, сказочным. Туман под луною – розовый.

Родники

Чем-чем, а уж хорошей ключевой водой наш город богат. Старожилы, бывало, хвастают: наш город, мол, и холера стороной обходила. А ведь в былые годы эта страшная гостья появлялась в Поволжье частенько. А почему так? Все благодаря воде! Течет у нас прямо из родников по сосновым помпам прозрачная ключевая водица, и на каждой улице стоит крытый деревянный бассейн с краном. Чистота и порядок!

А в окрестностях города куда ни пойдешь – всюду родники. Вдоль речки из крутого берега прямо подряд бьют; идешь мимо, уж непременно подойдешь напиться. Текут они в ржаво-красном ложе; может, и целебные какие, гадали мы, бывало.

Возле большого «кипучего» родника фруктовые сады по пригорку разведены, и по желобам в нужное время подается вода для поливки яблонь – всем хватает.

Кипучий родник этот бьет на склоне горы в роще, именуемой «Копыловкой». Вода в нем в постоянном волнении, как кипяток в чайнике. Выбиваясь из земли, она шевелит мелкие камушки и песок, промытый до сахарной белизны, и сильной, свитою в жгут хрустальной струей с шумом бежит вниз, в сады.

Отрадно жарким летним днем припасть губами к этой живой прохладной струе, а напившись, посидеть в холодке под ореховым кустом, слушать шум ручья и глядеть, как бежит он, то сверкая под солнцем, то прячась в густых зеленых зарослях дягиля, буйно разросшегося по его течению.

Я пытался в детстве нарисовать кипучий родник карандашом. Но как жалки, как огорчительны были результаты. Да тут и краски не помогут – где ж передать эту прелесть, этот блеск и радость бегущей воды!

Поймай-ка солнечный зайчик!

Кипучий родник остался в моей памяти одним из самых дорогих впечатлений детства, и как же мне радостно было найти однажды такое же родниковое чудо под Москвой.

Мы искали дачу.

«Отчего бы вам не посмотреть Дубечню? – посоветовала наша землячка Алина. – Я там жила в прошлом году – далековато, но зато уж такая благодать!»

Мы и поехали.

Была весна, май месяц, соловьиная пора, и погода случилась чудесная – длинный ведреный день, душисто, тепло. А когда мы уже возвращались в сумерках, взошла луна, вдоль шоссе белела в лунном свете распустившаяся букетами черемуха, и черемуховый

дух провожал нас всю дорогу.

В Дубечню мы приехали часов в пять. Доехать по проселку до самой деревни не удалось, пошли пешком. Мы перешли по мосту через маленькую речку и поднялись в гору. Шум воды поразил нас. С горы бежал, гремя и сверкая, сильный, быстрый ручей. Всего родников было здесь три или четыре, они текли, сливаясь в одно общее русло. На полугоре, на пути потока, стояла мельница с большим деревянным подливным колесом. «Она уж развалилась…»

Деревня была расположена вокруг родников кольцом. В этом было что-то древнее, славянское, языческое, как на картинах Рериха. И самое удивительное: несмолкаемый, буйный, веселый шум воды, похожий на шум морского прибоя. Какой бодрый аккомпанемент для жизни кругом – и утром, и вечером, и днем, и ночью, и зимою, и летом!

Нам рассказали, что и под горой по берегу речки бьет тринадцать родников, а речку зовут Смородинкой или Самородинкой, то ли от кустов смородины, которая растет по берегам, то ли оттого, что она из этих родников «сама родится».

На базаре

Базарный день у нас в пятницу. В этот день на улицах города полно мужиков в белых валенках и нагольных овчинных тулупах. Они толпятся у казенки, льют себе в бородатые пасти прямо из горлышка водку и, чавкая, закусывают городским калачом. Захмелев, они начинают плутать по городским улицам и ищут помощи у встречных: «Сделай милость, малец, скажи, как пройти на базар?» Отвечаешь с торопливой готовностью и оттого немного писклявo: «Идите все прямо, а после женского училища святого Иосифа поверните направо к собору, а за собором и будет базар». Он уйдет, а ты спохватишься – а ну-ка он неграмотный и не сумеет прочитать вывеску училища святого Иосифа. И побежишь за ним следом, да так и добежишь до базара.

На улице иней, морозно, невысокое зимнее солнце, розовые дымы из печных труб. На базарной площади стоят подряд сани с поднятыми оглоблями. Накрытые дерюжными попонами мохнатые, побелевшие от инея лошади жуют сено. Пахнет щепным товаром,[4] кожей, воблой, горячими калачами, морозцем. На снегу – корчаги, горшки, кувшины, плошки, квашни, кадушки, корыта, лопаты, метлы, оси, колеса, оглобли. На своем рундуке знаменитый на весь уезд пекарь Андрей не успевает отпускать связки своих знаменитых баранок. На прилавке у мясника привычная, но каждый раз вызывающая содрогание картина ада: телячьи и бараньи головы с прикушенным языком и остекленевшими глазами и еще всякое гадкое, на что тошно смотреть.

А вот и пестрый ларь с книжками и лубочными картинками. Здесь я прилипаю надолго. В кармане у меня медяшка, которую я волен истратить на что хочу. У картинной выставки, развешанной на веревочках, всегда толпа народу. Картинки на все вкусы; вот душеспасительные: «Ступени человеческой жизни», «Изображение святой горы Афонской»; есть охотничьи сюжеты: «Охота на тигра», «Охота на медведя», «Охота на кабанов»; есть на нежный девичий вкус: модная песня «Чудный месяц плывет над рекою», красавица с голубком, нарядные детки на ослике со стишками:

Маленькие дети
Вздумали кататься
И втроем решили
На осла взобраться.
Ваня сидел правил,
Играл Петя во рожок.

Ослик их доставил
Скоро на лужок.

Вызывает горячее сочувствие «Отец-бур и его десять сыновей, вооруженные для защиты родины против англичан». Герои пестро разодеты в разноцветные куртки и брюки – красные, синие, желтые; у каждого ружье и лента с патронами через плечо. Тут же изображены президент Трансваальской республики Крюгер с седою бородой воротником и генерал Кронье, «геройски защищавшийся в течение 11 дней с 3000 буров против 40000 англичан».

Но более всего потрясает своим драматизмом картина «Волки зимой», изображающая нападение волчьей стаи на проезжающих. Безымянный поэт описывает ужасы этого события в стихах эпически торжественных. Он начинает мирной картиной зимней природы и заканчивает строфами скорбными, как панихида:

И если путникам случится
Среди голодной стаи очутиться
На коне или в повозке без защиты,
Их следы будут сокрыты
Под глубокой снежной пеленой
И обречены на вечный покой.

Перечитав все подписи под картинками, перехожу к рассмотрению книжек: «Житие Евстафия Плакиды», «Как солдат спас жизнь Петра Великого», «Два колдуна и ведьма за Днепром», «Разуваевские мужики у московской кумы», песенки, сонники, гадательные листы с кругами царя Соломона. Есть и такие, которые мною уже прочитаны: «Анекдоты о шуте Балакиреве», «Гуак, или Непреоборимая верность».

После долгих колебаний делаю наконец выбор: плачу две копейки и уношу с собой «Путешествие Трифона Коробейникова по святым местам», в котором заманчивые названия глав – «О пупе земли», «О птице Строфокамил» – сулят читателю блаженные минуты диковинных откровений.

Я стал ходить в школу, и мне купили резиновые калоши. Ну и натерпелся я с ними мучений! Калоши тогда были у нас внове. Фасон у них был не теперешний, а высокий, выше щиколотки. А в школе настоящие ребята ходили в сапогах, штаны в заправку, и калош не носили – калоши были признаком барства, изнеженности. Мальчиков в калошах встречали насмешками,

гиком, песенкой:

Эй, извозчик, подай лошадь!
Иль не видишь: я в калошах? —

дескать, такому щеголю не пристало ходить пешком, а надо ездить на извозчике.

Во избежание позора я, не доходя до училища, снимал проклятые калоши и прятал в сумку, а в прихожей украдкой совал их за ларь.

После уроков приходилось пережидать всех и уходить последним, чтобы достать калоши из тайника, сложить в сумку, а перед самым домом надеть их на ноги и явиться домой в калошах.

– Где ты их так изнутри загваздал? – удивлялась мать.

Так продолжалось все три года, пока я был в начальной школе. Впрочем, зима у нас морозная, зимой все ходят в валенках. В «градском» училище мои калоши вышли из подполья и зажили нормальной жизнью. Здесь калоше-носителей было большинство. Я вспоминаю, как два ученика заспорили у вешалки из-за калош: чьи – чьи? Дело кончилось дракой. В спор пришлось вмешаться инспектору. Помню, как один из претендентов упорно уверял: «С места не сойти, это моё калоши!»

Это странное «моё» и осталось в памяти. В наших местах иногда говорят «мое» вместо «мои»: «Мое – труды, твое – деньги».

Вера отцов

Однажды отец получил письмо с иностранной маркой из Турции. В письме стояло:

> *Боголюбивый благодетель*
> *Василий Васильевич!*
> *Мир Вам и спасение от Господа Нашего Иисуса Христа! Честь имеем поздравить Ваше Боголюбие с душеспасительным постом и с наступающим великим Праздником Рождества Христова и Новым Годом! Да оградит Господь Вашу драгоценную жизнь миром и благословит телесным здоровьем и изобилием всех земных благ, а равно и прочими своими Небесными дарами к душевному спасению.*

Письмо было с Афона, из православного монастыря, за подписью самого настоятеля, с печатью, на которой было изображено всевидящее око. В конце письма выражалась надежда, что *«Ваше Боголюбие не оставит без воспоминаний и нашу худость и нужду, за что воздаст Вам своею милостью Милосердный Господь, который и за чашу поданную холодной воды обещал подающему награду».* Далее сообщался адрес и разъяснение, как посылать деньги и посылки *(«например: муку, крупу и другие тяжеловесные ящики и тюки»).*

Подумать только! Где-то за морем, в далекой Турции проведали о боголюбивом портном Василии Васильевиче и вот потрудились написать письмо и прислали картинку с изображением святой горы Афонской. Это о ней поется:

> Гора Афон, гора святая,
> Не знаю я твоих красот,
> И твоего земного рая,
> И под тобой шумящих вод!

И где только они сумели разыскать наш адрес?

Отец расчувствовался и послал монахам денежным письмом три рубля. Афонские же письма и потом приходили не раз, но оказалось, что их получали многие жители города. Выяснилось, что получали эти письма те же, кто получал газету. Похоже, что монахи разузнавали адреса через газету и письма рассылали без разбору, а не только самым благочестивым.

Отец всегда вставал раньше всех в доме. Умывшись, он становился столбом перед иконами, шептал молитвы, клал поклоны. Потом у икон молились мать и бабушка. Следили, чтобы и дети не забывали молиться. Если кто торопился и чересчур быстро управлялся с религиозными обязанностями, тому говорили: «Что же это, одному кивнул, другому моргнул, а третий и сам догадался? Иди перемаливайся!»

Посты в семье соблюдались строго. «Оскоромиться», то есть съесть что-нибудь мясное или молочное в постный день, считалось большим грехом. Кроме постоянных постных дней – среды и пятницы, были многодневные посты перед большими праздниками: перед рождеством, успеньем, петровым днем, а самый длинный, семинедельный великий пост – перед праздником пасхи.

Дни ранней весны, великопостные звоны, молитва Ефрема Сирина, переложенная Пушкиным в стихи, распускающаяся верба, стояние со свечками на ночной службе «двенадцати евангелий», ручьи на улицах и полуночная заутреня на пасху…

Черная, теплая ночь, гул колоколов, колокольня в разноцветных фонариках, внутри церкви тысячи огней в подсвечниках и паникадилах, зажигаемые священником сразу с помощью «пороховой нитки», веселые плясовые напевы пасхальных богослужений – во всем этом была своя поэзия, поэзия весны и евангельских образов, она трогала душу.

Летом привозили из Нижне-Ломовского монастыря чудотворную икону Казанской божьей матери. Встречали ее за городом в поле. Жаркий день. Между нив и лугов движутся толпы народа, колышутся в воздухе на высоких древках хоругви, духовенство в парчовых праздничных ризах, в экипажах – местное начальство и барыни под кружевными зонтиками.

При встрече – молебен с акафистом под открытым небом. Чудотворная в богатом золотом окладе, несут ее на белых полотенцах именитые бородачи из местного купечества. Некоторым счастливцам удается на ходу, согнувшись в три погибели, поднырнуть под икону – сподобиться благодати.

«Заступнице усердная, мати господа вышнего… Не имамы иные помощи, не имамы иные надежды, разве тебе, владычице…» – поет хор. Толпа на коленях, бабы плачут: «Ты нас заступи, на тебе надеемся и тобою хвалимся…»

Потом монахи целый месяц ходили с чудотворною по городу из дома в дом, служили молебны, кропили стены святой водой и собирали дань в монастырскую кружку.

Еще помнится: всенощная летом – столбы ладанного дыма освещены косыми лучами солнца, желтыми, синими, зелеными от

цветных стекол в окнах храма, хор поет «Свете тихий», раскрыты настежь все двери, ликующий визг касаток врывается снаружи.

Я пел в церковном хоре дискантом, запомнил через это множество молитв и псалмов и поэтому сейчас разбираюсь в церковнославянской печати. Из священного писания самое большое впечатление произвело «Откровение Иоанна Богослова» – жутко было (страшнее «Вия»!) читать эти мрачные фантазии о конце мира.

Затем наступила критическая пора первых сомнений в бытии божием, а потом крушение веры отцов и таимый от родных атеизм, который мы, юные безбожники, несли в себе с гордостью, как знак посвящения в тайный орден свободомыслящих.

Но в реальном училище, даже в старших классах, нас еще гоняли, построив парами, в церковь к обедне, заставляли говеть, исповедоваться и причащаться под наблюдением надзирателей, да еще требовали представления от попа справки об исповеди и причащении. Эта религия из-под палки не могла уже вернуть нас «в лоно церкви», скорее наоборот, ожесточала и толкала на протест.

Мы были в последнем классе реального училища, когда во время великопостного говения мои друзья Леня Н. и Ваня Ш. открылись мне, что они сговорились выплюнуть причастие («тело и кровь Христову»), и сделали это. Я внутренне похолодел, представив всю опасность их поступка: за это им грозило не только исключение из училища, но церковный суд и заточение в монастырь за кощунство. Вместе с тем я завидовал им, их героизму: «Почему же вы мне раньше не сказали? И я бы мог…» – «Ну, ты в хоре, у всех на виду, тебе это было бы трудно».

Они были потом убиты на войне. Но среди моих школьных сверстников столько убитых, что я не имею разумных оснований думать, что этих бог особенно покарал, припомнив их греховный поступок.

Счастье

Счастье, какое оно?

На пороге нашего дома была прибита подкова, а на притолоке двери наведен копотью крещенской свечи черный крест. Подкова приводила в дом счастье, крест защищал от напастей. Черный таракан, выползший из своей темной щели и торопливо перебегающий по освещенному месту, считался вестником счастья. Счастье таилось повсюду. Его искали в веточках сирени: цветок о пяти лепестках приносил счастье. У детей искали примет счастливой судьбы: много родинок – к счастью, двойная макушка – к счастью, косичка на шее у мальчика – к счастью. Бабушка, качая внучат в зыбке, пела:

Если вырастешь большой,
Будешь в золоте ходить…

Эти маленькие счастливцы рано умирали. Детские гробики в нашем быту появлялись часто. Доброжелательная соседка, любуясь младенцем на руках у матери, восклицала: «Да какой же хороший, да пригожий, да нарядный, чистый андел! Кума, отложи-ка ты ему это платьице на смерть!»

В кошельке у отца лежал сдвоенный орех – «чтобы деньги водились». Найденная на дороге подкова порождала сладкие надежды. На что? Да мало ли было таких нечаянных случаев! Моя двоюродная сестра Наташа была счастливая – она часто находила на дороге медные монетки, а один раз нашла затоптанный в пыли платок, а в нем завязанные в узелке рубль бумажкой и семьдесят четыре копейки мелочью. Наш дальний родственник из Кирсанова, Ширяев, получил нежданно-негаданно в наследство парикмахерскую со всем оборудованием. А однажды на моих глазах счастье привалило Еньке Макарову. Мы играли втроем на заросшем кустами пустыре: Енька с братом и я. Енька побежал под бузину и кричит: «Чур одному!» Смотрим – узел, а в нем мануфактура! Енька отнес узел матери, а Макариха говорит: «Только, чур, ребята, молчок, а то греха не оберешься». Я побожился, что не скажу, а Макариха потом из этой материи Еньке с братом рубашки сшила.

В городе нашем часто устраивались лотереи-аллегри, на которых обычно главной приманкой были выигрыши: самовар и корова. Отец не пропускал ни одной лотереи. Он входил в азарт, терял голову, вынимал билет за билетом и, проиграв до копейки все, что было в кармане, с ошалелым и смущенным видом приходил домой и выгружал из карманов выигрыши: карандаши, английские булавки, пуговицы к кальсонам, маленькое круглое зеркальце, губную гармошку, копеечный перстенек.

На ярмарке он забывал себя у тира с призами или у балагана, где метали кольца на гвозди, под которыми стояли выигрыши – гармоника, лампа, гипсовая кошка. Я стою рядом, а он торопливо бормочет: «Подожди-ка, я еще разок попробую», кидает и кидает кольца и никак не может оторваться.

Над площадью стоит ярмарочный шум и гам, солнце печет нещадно, дудят в дудки их счастливые обладатели, гудят шарманки у каруселей. Меня тянет поскорее попасть в ряды, где бабы сидят у заткнутых тряпицами корчаг и продают сыченую брагу, к прилавкам, где из больших стеклянных кувшинов разливают в стаканы малиново-розовый и ярко-желтый от фуксина лимонад, где торгуют маковками и косхалвой, в сладкой замазке которой можно на полдня завязить зубы и лишиться дара речи. А отец все свое: «Подожди, потерпи малость, сейчас выиграем…» Мальчишками мы мечтали о цветке папоротника, о кладах, зарытых в земле, о корчагах с червонцами. Мне как-то попалась в руки карта нашего уезда, на которой были кружками и квадратиками отмечены археологически интересные пункты – курганы и городища. Этот листок, вырванный из какого-нибудь сборника трудов земских статистиков, казался мне полным заманчивых обещаний, не меньше, чем пиратские документы из «Золотого жука» или «Острова сокровищ». Один кружок указывал

совсем не дальнее место – при слиянии Сердобы и Хопра у села Куракина. Там жил мой приятель по школе Федя Щегольков, которому я и доверил тайну документа. Целую зиму мы строили планы раскопок и намечтали невесть чего. Какие сокровища таило в себе древнее городище?

Мы едва дождались каникул, и вот наша экспедиция в пути. В Куракине мы вооружились лопатами и отправились на раскопки. Мы нашли место, указанное на карте. Оно выглядело просто и буднично и совсем не походило на таинственный «Остров сокровищ»: поросший мелким ивняком берег, на песке – коровьи и овечьи следы.

Мы стали копать наудачу: в одном месте, другом, третьем – ничего!

Принялись копать снова и снова, и хоть бы на грошик счастья! Мужик с противоположного берега заметил нашу работу и крикнул: «Ребята, да разве в песке червей копают? Ступайте, вон в назьме за ригой их сколько хошь». Он подумал, что мы копаем червей для рыбной ловли.

Мы смутились, бросили лопаты и полезли купаться в Хопер. Вода была уже теплая. Мы долго плавали, плескались, валялись на солнышке в песке и не знали тогда, что это и было счастье.

Фотограф Пенский

В «чистой горнице», где находится большое трюмо, перед которым мама примеряет платья на заказчицах, стоит круглый столик, покрытый ручной вязки гарусной накидкой, и на нем покоится пузатый семейный альбом с фотографиями. С его страниц глядят знакомые дяди в непривычных для них крахмальных манишках и при галстуках и тетки в праздничных платьях, отделанных аграмантом и плисом. У всех напряженные лица и выпученные глаза. Вот брат отца – дядя Паша в папахе, в черкеске с газырями, с кинжалом и шашкой – в форме Осетинского конного дивизиона, в котором он служил на сверхсрочной службе военным писарем. Тетя Наташа, сестра матери, монашенка – в апостольнике, с четками в руках. Тетя Поля с барышней, у которой она служила В няньках. Знакомый приказчик Алексей Агафонович Суров увековечил на снимке и себя, и супругу, и все свои меховые вещи: на нем серая каракулевая шапка и хорьковая шуба с кенгуровым воротником шалью, жена в плюшевой ротонде с воротником под куницу, в руках у нее муфта с хвостиками.

Но мне всего интересней фотографии молодых отца с матерью. У отца пробиваются усы, прическа с начесом на лоб, он в вышитой сорочке и сюртуке. Мать в белом подвенечном платье, с кружевной наколкой и восковыми цветами в волосах. На фоне – наше знакомое стеганое одеяло, потому что фотография снята не в ателье, а во дворе, и снимал ее приятель отца – фотограф Пенский.

Всегда и всюду опаздывающий злодей Пенский не попал, как обещал, на свадьбу приятеля, а заявился спустя полгода. Мать была беременна, и беременность была уже заметна. Но ей, портнихе, одевавшей своими руками стольких невест к венцу, так мечталось сфотографироваться в свадебном уборе, что она кое-как натянула на располневший живот свое белое подвенечное платье и предстала в таком виде перед объективом.

Пенский и потом не раз приезжал в наш город открывать собственную фотографию, и в моей памяти эти приезды остались в сиянии особого праздничного блеска.

С близоруким прищуром добрых своих глаз, борода вразлет на обе стороны, одетый элегантно и небрежно, рассеянный и веселый, появлялся праздничный Пенский в мастерской у отца. В Кирсанове он работал ретушером в фотографии. Про него говорили, что он мог бы стать «настоящим» художником, если бы не его «слабость». Может быть, он действительно был учеником Академии художеств; в ту пору многие даже из окончивших академию, убоявшись превратностей судьбы на шатком и неверном пути художника, избирали более надежную карьеру мастера «фотографической живописи».

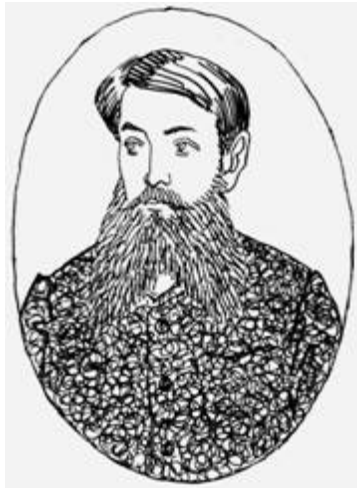
Пенский привозил всем разные подарки, а детям горы сладостей, игрушки, книжки. Мы его любили и с сестрой разыгрывали для него диалоги «Афоньки нового» и «барина голого»

– Афонька новый!

– Что, барин голый?

– Подай чаю!

– Сейчас накачаю.
– Чего, чего говоришь?
– Сейчас подаю.
И так далее.



Пенский умирал со смеху, слушая эти нехитрые представления, и заставлял нас повторять их много раз.

Он останавливался в «номерах для приезжающих» вдовы Поповой и каждый день с утра приходил к отцу, садился у катка, покуривал, строил планы.

– Заказал, Вася, афиши в типографии Бернштейна в три краски, с раскатом: сверху красный цвет, посередке лиловый, внизу синий. Отлично будет.

– Все на шик, все на выхвалку, – говорит отец неодобрительно. – Ну, а как теперь насчет «от лукавого»?

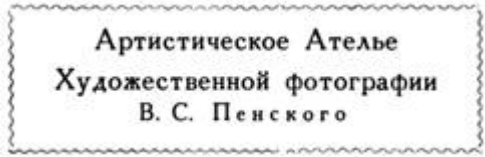
Отец выразительно щелкает себя по глотке.

– Дал зарок, Вася, а ну ее к дьяволу! Пора за ум взяться.

– Ну, смотри держись! А то знаешь, как свинья зарекалась кой-чего есть, да не вытерпела. А ты бы, пока заказов у тебя нет, снял нас на карточку.

– Подожди, Вася, дай распаковаться.

Скоро на заборах в городе появились напечатанные тремя красками афиши Пенского. В них доводилось до сведения почтеннейшей публики, что в ближайшее время откроется



Снимки кабинетные, визитные и т. д.

Увеличение портретов с раскраской в натуральные цвета.

Изящные паспарту с художественными виньетками.

Цены умеренные. Негативы хранятся два года.

Пенский весь в хлопотах. Он снимает помещение, закупает тес для ателье, торгуется с плотниками. Но хозяйские радости тешат его недолго и скоро надоедают ему.

В шляпе набекрень, с запахом дорогих папирос и коньяку заявлялся он вдруг, нагруженный кульками со снедью, бутылками, конфетами, пряниками, орехами. Отец смотрел с осуждением на это мотовство:

– Не выйдет из тебя хозяин, Виктор Степанович, – собираешь крохами, а тратишь ворохами.

– Брось ворчать, Вася, попразднуем!

– Что за праздники? Иваны Бражники? Или алырники-именинники да лодыри с ними?

– Ну, ну, возьми папиросочку!

– Папиросы Дюбек, от которых сам черт убег? Нет, уж я лучше своего расейского. – И отец закуривал козью ножку.

Не встречая у отца сочувствия, Пенский шел в мастерскую к матери, где у большого стола под лампой-«молнией» сидели за работой девушки, и, становясь в позу, декламировал:

> Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей —
> Вот арфа золотая…

Он высыпал конфеты и орехи из своих кульков на стол:

– Вот вам гостинец, а вы мне за это спойте.

– Да что спеть-то?

– Ну небось сами знаете, мою любимую: «Жену ямщика».

Все делают вид, что даже и не замечают гостинцев,

рассыпанных на столе, а бойкая насмешница Даша Казанцева говорит без улыбки, не поднимая глаз от работы: «Ой, батюшки светы, эдакая страсть да к ночи! Лучше мы вам споем чего повеселее!»

– Нет, нет, не надо веселого! «Жену ямщика», ну пожалуйста!

Пенский ложится в углу на кушетку и закрывает глаза в предвкушении сердцещипательной песни. Певицы перемигиваются и начинают вдруг громко и визгливо:

Зачем ты, безумная, губишь
Того, кто увлекся тобой?
Ужели меня ты не любишь?
Не любишь, так бог же с тобой!

Пенский вскакивает, морщась, как от боли:

– Не надо, не надо, ради бога!

Он укладывается снова, закуривает папироску, заводит глаза, и вот Даша запевает низким грудным голосом:

Жгуч мороз трескучий,
На дворе темно.
Серебристый иней
Запушил окно.

– Вот это хорошо, вот за это спасибо, – бормочет Пенский.

Дремлет подле печки,
Прислонясь к стене,
Мальчуган курчавый
В старом зипуне.

Песня длинная, жалобная; мелодия в ней тоскливая, монотонная, заунывная, как вой зимней вьюги. Стук в сенях – появляется вестник:

Вот мужик плечистый
Сильно дверь рванул,
На пороге с шапки
Иней отряхнул.
……

Минута патетическая, у певиц на глазах слезы. Бородатый

Пенский рыдает в три ручья, закрыв лицо рукой и по-детски всхлипывая.

«А мой муж?» – спросила
Ямщика жена,
И белее снега
Сделалась она.
«Да, в Москву приехав,
Там он захворал,
И господь бедняге
По душу послал».

Песня кончена. Пенский пытается закурить намокшую от слез папироску и с досадой бросает ее. Девочки смущены и горды действием своего искусства: от их пения плачет большой бородатый мужчина.

После этого Пенский исчезает надолго. Иногда он появляется, шумный и пьяный, со своими кульками и бутылками и пропадает снова, пока не растрясет все свои капиталы по трактирам.

А потом, похудевший и полинявший, приходил он к отцу занять денег на обратный билет в Кирсанов. Артистическое ателье художественной фотографии В. С. Пенского так никогда и не было открыто в нашем городе.

Мальчик не в убыток

А то приезжал как-то раз в наш город Павел Иванович Ширяев открывать свою парикмахерскую. С какой бы стати связываться Павлу Ивановичу с этим делом? Сроду он стрижкой и бритьем не занимался, а служил у купца в приказчиках по хлебной ссыпке.

Да случилось так, что досталось ему после смерти дяди-парикмахера в наследство все парикмахерское хозяйство и даже с мальчиком-учеником в придачу. Вот и заявился он к нам раздувать дело, на старом-то месте ему бы житья не дали: засмеяли бы охочие до зубоскальства мещане – не за свое, мол, дело берешься.

Нанял дом, повесил вывеску: «Парикмахерская П. И. Ширяева. Стрижка, бритье и завивка волос». В зале поставлено трюмо, диван, стулья, фикус, взятый напрокат у соседки, разложены бритвы, ножницы, расчески, флаконы с одеколоном и вежеталем.

Хозяин сидит в зале и ждет посетителей. Входит клиент. Ширяев торжественно подает сигнал: «Мастер, в зало»! – и появляется Эдуард.

– Обслужите клиента!

Ширяев обращается к мастеру на «вы», чтобы придать ему весу, ибо вид «мастера» не внушал доверия. Эдуард был хорошенький, чистенький, аккуратный мальчик, старавшийся держаться солидно. Белые халаты в парикмахерских у нас в ту пору еще не вошли в употребление. Эдуард на работе был в черной тужурке и в твердом стоячем воротничке из гуттаперчи. Он был мил, но маловат ростом. Клиенты недоверчиво смотрели на мальчика и спрашивали Ширяева:

– А может быть, вы сами лучше побреете?

– Будьте покойны, останетесь довольны, бритье с гарантией, не понравивши – деньги обратно, – убеждал сиплым голосом Ширяев, прижимая руку к сердцу: сам он ни брить, ни стричь не умел.

Эдуард стриг и брил, Павел Иванович развлекал клиента разговором и получал деньги. За занавеской сидела жена Ширяева с двумя ребятами – трехлетним и грудным. Когда уходил клиент, она выползала из-за занавески и отбирала деньги у мужа. Но Павлу Ивановичу удавалось утаить мелочишку и на свою долю. Закончив трудовой день, он появлялся у нас. Усаживался у отцовского катка и хвастался:

– Выручка рубль семь гривен – мальчик не в убыток. – Доставал из кошелька двугривенный и сипло командовал: – Афоня, спроворь-ка полдиковинки, да поживее – одна нога здесь, другая там!

Афоня с веселой готовностью, с какой русский человек бежит за водкой, спрыгивал с катка, натягивал сапоги, спрашивая на ходу:

– Бернова или Крючёнкова?

Это были две водочные фирмы – водка Крючёнкова считалась помягче, Бернова – позабористей.

Приносили водку, доставали соленые огурцы из погреба. Павел Иванович со смаком выбивал пробку и разливал в рюмки. Отец «по слабости» составлял компанию, однако не упускал случая за выпивкой подразнить Ширяева:

– Смотри, Павел Иванович, не жалей харчей своему кормильцу, корми его получше, чтобы ноги не протянул от непосильной работы!

– Ну чего там непосильного? Брить да стричь – это не дрова рубить.

– Верно, побрил да спи. Знаешь, как купец работника

нанимал? Вот он ему выпевает: спать будешь на себя, работать на хозяина, жалованья – тридцать дней на месяц, харчи хорошие, щи жирные, работа легкая. Встанешь пораньше – дров наколол, опять спать ложись, скотине корму задал – опять спи, воды наносил – спи, печи истопил – спи, самовар поставил – спи! Да ты на такой работе обоспишься!

Как только Ширяев приходил к нам, я бежал к Эдуарду. Я был пленен им с первого же взгляда. Все мне в нем нравилось: и его иностранное имя, и его модная в то время прическа ежиком, и стоячий воротничок из гуттаперчи, и степенная манера держаться, приличествующая «мастеру».

Он отпрашивался у хозяйки, и мы бежали задами на только что замерзшую речку кататься по льду. Металлические коньки были у нас в ту пору в диковинку. Мы катались на деревянных колодочках, в которых провертывали дырки и бечевкой прикручивали к валенкам. Такие коньки то и дело соскакивали, и привязка к ногам занимала больше времени, чем самое катанье. Да и Ширяиха не очень-то давала раскатываться. «Эдуард, – кричала она с крыльца, – принеси воды!» И мы отвязывали коньки, и я шел с моим другом за водой, потом в лавочку, в аптеку за детской присыпкой, потом за хозяином, который засиделся в гостях и не кажет глаз.

Павел Иванович вошел во вкус легкой жизни и каждый день хвастался выручкой: «Дело себя оправдывает, мальчик не в убыток». По праздникам Ширяев приходил к нам вечером с супругой и детьми – он еще не успел обзавестись знакомствами в городе, и наша семья была единственной, куда они могли пойти в гости. Я немедленно убегал в парикмахерскую, где заставал Эдуарда за топкой печи. Мы сидели у огня, не зажигая лампы, и друг мой рассказывал мне, как он очутился у Ширяева. Он рано остался без отца и матери, и тетка отдала его в учение к парикмахеру Егору Ивановичу, Егор Иванович, бездетный вдовец, был добрый мужик и хороший мастер, но горький пьяница. Во хмелю он был не шумен, и тетка все ходила и сватала ему кирсановских невест, согласных сделаться парикмахершами. Но Егор Иванович в понедельник опохмелялся, во вторник отсыпался, среду и четверг работал, а в пятницу – день базарный – начинал снова. Жениться ему было недосуг. Он умер от скоротечной чахотки, жестоко простудившись на масленой по пьяному делу. Ширяев получил парикмахерскую в наследство. Эдуард стал теперь главным винтиком в предприятии. Он мечтал накопить денег и уехать обратно в Кирсанов – там у него все-таки родня, а здесь он совсем один. Мне становилось обидно, что он так равнодушно говорит о разлуке со мной, но я понимал, что

имею дело с человеком исключительной судьбы, и не роптал.

По базарным дням в парикмахерской появлялся косматый и бородатый уездный люд, и Эдуард едва успевал стричь, а Ширяев – подсчитывать выручку. «Ну как, довольны-с?» – вопрошал хозяин разглядывавшего в зеркало свое помолодевшее лицо степняка-хуторянина. «Похаять-то вроде не за что, да уж больно тщедушен мастерок-то твой!»

И удивительное дело: по второму разу никто не приходил. Заведение Ширяева казалось всем в нашем городе каким-то шутовским, несерьезным делом. Городские ремесленники, которые «хозяйствовали» и держали мастеров и подмастерьев, всегда имели понятие в своем ремесле, а чаще всего были первой рукой в собственном заведении.

Хозяйство Ширяева казалось обывателям обидной карикатурой. Краснорожий бездельник-хозяин, которого со всем его семейством содержит своим трудом тщедушный мастерок-мальчишка, – в этом порядке было что-то бесстыжее, нахальное! Посетители с каждым месяцем появлялись все реже. Павел Иванович стал прогорать.

Первым уехал Эдуард. Случилось это как-то внезапно, и я с ним даже не успел проститься. Поезд отходил вечером, а у нас в школе был как раз в тот день юбилей Пушкина. Хор спел кантату, потом учитель прочитал по бумажке, какой великий поэт был Пушкин и почему мы должны его любить.

Актеры из местного драматического кружка представляли сцену в келье из «Бориса Годунова». Податной инспектор играл Пимена, а телеграфист Кузнецов с нашей улицы изображал Гришку Отрепьева.

Потом опять пел хор, и читали стихи ребята. Я должен был декламировать «Утопленника» и, волнуясь, ждал своей очереди.

В публике сидела мать, с праздничным лицом, очень довольная, и с полным доверием к нашим талантам наслаждалась пением и декламацией.

Я вышел и прочитал «Прибежали в избу дети», хорошо, с выражением. Наш учитель Петр Михайлович перед юбилеем целый месяц возился с нами – учил декламировать, где громко, где тихо, где шепотом. Мать сказала, что у меня здорово вышло, когда я слышным всем в зале шепотом сказал:

Штоб ты лопнул…

На другой день я зашел в парикмахерскую. Вывеска была снята. Павел Иванович выносил фикус из зала, зеркало было уже

продано.

И главное – не было Эдуарда. Больше я его никогда, никогда не видел.

Аллея Марии-Антуанетты

Рассказал однажды Пров Палоныч рассказ про куракинского князя.

– Бывал, Вася, в Куракине?

– Случалось, Пров Палоныч; прошлым годом на Сойкина шил, с винокуренного завода, ездил к нему.

– А дворец княжеский видел?

– Как же, видел.

– Ну, теперь он – тю-тю, больше не княжеский. Купец купил, Асеев, миллионщик из Нижнего. И землю, и лес, и усадьбу, и дворец. Яко в писании: «Днесь оного село, а заутро другаго, и помале инаго». Все просвистал нонешний-то князек по разным заграницам.

А какие из ихней фамилии Куракиных в старое время знаменитые вельможи были, возвышены были саном и почестями, даже с царями в свойстве состояли!

Вот хоть бы этот, который у нас дворец-то выстроил, – Александр Борисович Куракин. Ведь он смолоду воспитание свое получил рядом с порфирородной отраслью царского древа – с самим цесаревичем Павлом Петровичем, наследником российского престола, вместе с ним по иностранным государствам путешествовал и был его первейшим другом и наперсником во всех делах и тайных помышлениях.

Все в жизни ему улыбалось, но рок пожелал иного! За его дружбу и верность Павлу невзлюбила князя императрица Екатерина Вторая и сослала его из столичной резиденции в нашу саратовскую глушь, в его родовую деревню.

Привез он с собой целый обоз всякого добра и челяди несметное число, рассказывали потом – на целых двенадцать верст поезд княжеский растянулся!

Что было делать на новоселье этому баловню фортуны, которого жестокая судьба из царских чертогов забросила в наше захолустье, за тысячу верст от столичной роскоши и светских удовольствий?

Что было, говорю, ему делать? Томиться ли упованием надежды, гадать на бобах да путаться в лабиринте человеческих догадок…

– Как это в лабиринте, Пров Палоныч? – не вытерпел Афоня.

Пров Палоныч строго посмотрел на невежу, помолчал и молвил:

– Ты что за совопросник века сего? Знаешь пословицу: кто суется с перебивкой, тому кнут с перевивкой!

Да, так вот чем ему было тут тешиться, чем разгонять скуку в долгие ночи осенней и зимней порой?

Был он в ту пору тридцати лет, холост, сложения крепкого, пригож собой, любезен, тонкого и благоприятного обхождения. Щеголь он был первостатейный – всегда в парче и бархате, с алмазными пуговицами и таба-терками, недаром и прозвище ему было «бриллиантовый князь».

Деревня его называлась раньше Борисоглебское, а он ее в Надеждино переименовал, с тонким намеком – «надеюсь, дескать, на перемену своей судьбы: не век Екатерине царствовать!».

Ну, первым долгом за постройку своего дворца принялся. Доказать хотел недругам своим, что и здесь сумеет завести роскоши не хуже столичных. На берегу Сердобы, на высоком месте, воздвигнул бесподобный дворец с колоннами, в восемьдесят комнат, а возле дворца разбил аглицкий сад, прочищенный в осьмидесяти десятинах старого леса.

Каждая просека, каждая тропинка имела свое имя, означенное на жестяной доске, прибитой у входа на точеном столбике. Была, например, просека Цесаревича, в честь наследника Павла Петровича, и Нелидовская, в честь фаворитки его Нелидовой. Была аллея Марии-Антуанетты, королевы французской; на той аллее поставлен был ей памятник в виде пирамиды с доской и золотой надписью, самим князем сочиненной. А то были и простые названия: аллея «Приятного наслаждения», «Скорого достижения», «Милой тени», «Веселой мысли», «Спокойствия душевного».

К умножению своей тщеславной роскоши повсюду по аллеям поставил хозяин бюсты и статуи, понастроил беседки, называемые храмы Славы, Терпения, Дружбы, Истины, а для пиров и банкетов – павильон, нареченный «Вместилище чувствий

вечных».

По всем соседям разослал князь особым письменным циркуляром приглашение пожаловать к нему в гости, и чтобы каждый в его доме почитал себя не гостем, а хозяином, жил бы, сколько времени пожелает, приказывал бы сам слугам, что ему нужно, и располагал собой, как каждый привык, не сноравливаясь к провождению времени самого хозяина.

Засуетил он этим циркуляром всех наших помещиков вокруг себя, господишки прямо с ума посходили! Всякому лестно около такого вельможи потереться. День и ночь в Надеждине толпище дворян, всем им он при своей особе разные придворные должности назначил. А они из-за этих дутых чинов чуть не в драку: честь великая! Поставил он себя между ними не хуже принца какого!

И все придумывал, чем бы ему форснуть, чем еще спесь свою потешить, любил шик, любил фасон, любил выхвалку. Целый флот завел на Хопре для потехи. Сам за адмирала в морском мундире, в руках подзорная труба, на каждой шлюпке по капитану, все матросы в форменной одежде. В поход ходили, из пушек палили: чудил молодой князь от скуки. Но извиним слабости человеков – они всякому свойственны.

А по воскресеньям, по праздникам и табельным дням делал князь «большие выходы». Ждут его гости в обширном зале, а он выходит из своих покоев во всех регалиях, во всех лентах и позументах, бриллиантах и диамантах – величавая поступь и наружность заманчивая: прямой вельможа, царедворец! Букашки с себя не стряхнет без белой лайковой перчатки!

Ну уж тут на выходах полный этикет, как при императорском

дворе, каждый свою роль и место в свите заранее знал. А всей церемонией командовал заслуженный майор, впереди свиты вышагивал, а в церкви, когда князь становился на свое место, майор принимал из его рук золоченый княжеский посох.

Каждый день – что в праздник, что в будни – во дворце всякие увеселения, балы и маскарады, музыка и танцы, пиры и банкеты, променады да кадрили – дым коромыслом! Гуляли по неделям без просыпу, всех гостей в лоск уложит, а сам ни в одном глазе. Крепок, сказывают, был князь во хмелю!

И прожил он таким побытом в своем Надеждине ни много ни мало – четырнадцать годов с лишком.

И дождался-таки своего часа. Скачет к нему экстренный курьер из столицы, привозит желанную весть: в бозе преставилась императрица. А новый император – Павел Петрович – зовет его, своего сердечного друга, не мешкая, поспешать к царскому престолу на торжество коронации. Ну конечно, все бросил, покатил сломя голову как на праздник. И верно – праздник! Фортуна наклонила к нему свой рог изобилия, и царские милости излились на него золотым дождем. Наградил его Павел всякими отличными чинами и орденами, высоким придворным саном, а сверх всего пожаловал ему богатейший дворец в столице, четыре тысячи душ крестьян, рыбные ловли под Астраханью – всего не перечесть!

– Ну а дальше что с ним было?

– А дальше случилось опять коловращение судьбы. Истинно сказано: «Не надейтеся на князи, на сыны человеческие, в них же несть спасения». Император Павел был характера непостоянного. Сей самодержец, едва взошед на вожделенный трон предков своих, помрачился рассудком, сердце его исполнилось желчи, а душа – гнева. Напыщение власти ослепляет очеса мысленная. Бог ведает, какая его муха укусила, а только уже через два года попал наш князь в немилость и опалу и снова вернулся в свое Надеждино.

Да Павел недолго после этого царствовал. Не своею смертью, говорят, умер, а новый царь Александр Первый опять князя Александра Борисовича в первейшие вельможи произвел и в Париж назначил, и там он до самого двенадцатого года при Наполеоне русским послом состоял. Уж, верно, тонкий политик был, дурака на такую должность не послали бы!

Однако заболтался я тут с вами – время обедать. Хозяину почтение.

Загвоздил мне голову Пров Палоныч своим «бриллиантовым князем», его дворцом из восьмидесяти комнат, парком с

памятником и аллеей Марии-Антуанетты. Мне смерть как захотелось взглянуть самому на эти диковинки, да идти туда было далековато, а ходить далеко в одиночку я боялся с прошлого лета, когда двое взрослых парней отняли у меня в лесу собранные ягоды.

У Феди Щеголькова, моего товарища по классу, отец служил приказчиком в куракинском имении. Мы условились с Федей, что весною на каникулы пойдем в Куракино вместе.

Был май месяц, нежная зелень лесов, синее небо с белыми облаками, день ясный, солнечный, но не жаркий. Мы шагали не торопясь и то и дело закусывали: в сумке был хлеб, печеные яйца, сухая вобла. К полудню мы дошли до Куракина.

Вот Новоселки: скучные, подслеповатые, крытые соломой избы в один порядок – ни единого деревца и кустика возле дворов. А невдалеке уже видны большие деревья княжеского парка и белая громада дворца.

Мы подошли к Фединому дому, и Федя познакомил меня со своими родными. Нас усадили за обед, я едва высидел от нетерпения. После обеда Федя побежал за ключом, я ждал его на дворе.

Дворец смотрел на меня слепыми окнами своих трех этажей. Таких больших зданий у нас и в городе не было. Окна первого и третьего этажей были обыкновенные, а во втором этаже высокие, как двери. Крыша посредине дворца была круглая, куполом, с длинным шестом для флага. Я несколько раз принимался считать окна по фасаду и все сбивался: выходило то пятьдесят одно, то пятьдесят три. Федя принес ключ и открыл дверь. Мы вошли.

Пахнуло погребом, гнилью, мышами. Окна нижнего этажа были забиты изнутри досками. Тут было совсем темно и ничего не видно после яркого дня. Мы вбежали по лестнице до второго этажа. Большие высокие покои были пусты и дышали холодом. Наши шаги гулко отдавались по выбитому паркету. На голых стенах виднелись темные квадраты – следы висевших здесь некогда портретов и картин. Остатки драной мебели с продырявленными сиденьями и несколько шкафов с книгами, судя по корешкам, французскими, составляли всю обстановку этих парадных комнат. На всем лежал толстый слой пыли, сору, мышеточины.

Переходя из комнаты в комнату, мы набрели на княжескую спальню. В ней стояла громадная белая деревянная кровать с резными золотыми узорами, под пыльным балдахином синего линялого бархата с бахромой и золотыми кистями.

– Хочешь, покажу фокус? – спросил Федя.

– А ну покажи!

Федя толкнул стену, открылась маленькая потайная дверь на узкую лестницу.

– По этой лестнице к нему *наложниц* приводили, – сказал Федя таинственно.

Как интересно, совсем как у Дюма!

Мы поднялись на третий, верхний этаж. И здесь – все тот же вид запустения. Обои клочьями свисали со стен слоями разных эпох и расцветок. Из-под старых газет виднелась прежняя окраска. Угловая комната была ободрана до первоначального канареечно-желтого колера и от этого казалась освещенной солнцем. Какой вид открывался из окон третьего этажа – дух захватывало! Крутой спуск от дворца к реке густо зарос деревьями и кустами. Налево синел дальний лес, а прямо и направо широко, на многие версты раскинулось родное приволье: петли реки Сердобы, озера, луга, нивы и села с белыми церквами и ветряными мельницами. Вон у реки отдыхает стадо, в далекой заводи белеют гуси, мальчишки по мелкому озеру тянут бредень. И надо всем этим – синее высокое небо с крутыми, снежно блистающими под солнцем облаками!

В чулане под лестницей мы нашли целые горы брошенных как попало старых бумаг. Попадались во множестве рекрутские квитанции екатерининских времен, много было всяких рапортов и записок приказчиков и старост. «Сколько нужно получить с крестьян села Надеждина с деревнями с каждого тягла», донесение, что «за потраву господского хлеба с крестьян села Надеждина овса сто четвертей взыскано и ссыпано в господский амбар», «регистр людским флигерям, чего в оных именно не оказалось». Вот толстая тетрадь в лист синей бумаги: «Опись домовая его сиятельства князя Александра Борисовича вотчины о разных вещах и интересах, принятых правителем Алимпием Савельевым, сыном Судаковым 1811 года».

Я себе намечтал за зиму про этот дворец невесть какие чудеса, а тут голые стены да старые бумажки. Я был разочарован.

– Погоди-ка, – сказал Федя, – у нас есть книга, где описано все, как было в старину.

Он принес трепаную «Иллюстрацию», и мы стали читать о былом великолепии куракинской усадьбы. Описание говорило о роскоши разделанных под мрамор дворцовых покоев, украшенных высокими зеркалами, японскими вазами, портретами и бюстами Павла I и владельцев Куракина, картинами и «прелестными гравюрами приятных сюжетов».

«Мы вошли в сад, – повествовал дальше автор, посетивший дворец в 1848 году, – прохладный и дремучий, где не видно

голубого неба, – все зелень и тень.

Широкие аллеи, будто тоннели, проложенные в массе зелени, открывают вдали разнообразные картины… Это очарование невыразимо, когда смотришь на аллею Марии-Антуанетты, названную так по виднеющемуся в ее конце памятнику. Он сложен из кирпича; на медной доске пьедестала некогда вызолоченными словами изображено: «На вечную память Марии-Антуанетте, королеве Французской и Наваррской…»

В стенах дворца было холодно и сыро.

– Какого шута мы здесь мерзнем, – сказал Федя, – пойдем лучше на солнышко.

Мы вышли в парк. Парк был мало похож на только что прочитанное нами описание. Ограда вокруг давно обвалилась. Старые деревья повысохли. От дорожек и аллей и следа не осталось. Никаких «зеленых тоннелей» уж не было – одни черные пеньки. Парк зарос бузиной, крапивой, репейником, по вытоптанной траве бродили телята. Мы набрели на круглую полянку, посредине которой виднелась куча кирпичного щебня.

– Вот он, памятник Марии-Антуанетте! – сказал Федя.

Холмик битого кирпича был чуть повыше кротового бугорка.

– А где же здесь аллея? – спросил я глупо.

– «Где, где»! Не видишь сам – все повырубили.

Бедный Федя чувствовал себя смущенным, будто был виноват в том, что все княжеские затеи рассыпались прахом.

– Пойдем-ка лучше на Хопер, – сказал он.

Дорогой мы встретили Фединого старшего брата Володю, студента-землемера, и пошли вместе.

Володя нашего интереса к «бриллиантовому князю» не одобрил.

– В вашем возрасте, синьоры, – сказал он, – надо более критически относиться к явлениям общественного порядка. Пора разбираться, кто является полезным членом общества, а кто трутнем. Этот ваш князь, будь он хоть трижды бриллиантовым, самый обыкновенный толстобрюхий крепостник, самодур, обжора и развратник. Что сделал он полезного для человечества? Что осталось от его сиятельства, кроме этого никому не нужного дворца, который Асеев давно разобрал бы на кирпич, да покупателя не находит?

Володя остановился на тропинке, поднял руку, приглашая нас ко вниманию, взъерошил волосы, завел под лоб глаза и сдавленным голосом произнес:

Садитесь. Я вам рад. Откиньте всякий страх
И можете держать себя свободно.
Я разрешаю вам. Вы знаете? На днях
Я королем был избран всенародно…

И прочитал нам наизусть всего «Сумасшедшего» Апухтина. Он уже играл в городе несколько раз в любительских спектаклях и часто выступал в дивертисментах с декламацией.

– Всё васильки, васильки… – бормотал он, изображая безумного.

На «бис» он прочитал нам еще стихи: «Слышишь: в селе за рекою зеркальной глухо разносится звон погребальный…»

На Хопре мы бросали по воде плоские камешки – «блинчики» и считали, у кого больше раз отскочит. Володя делал это ловчее всех. Мы бродили по берегу до самых сумерек.

Над рекой появились ватные Клочья тумана. Сильнее стали запахи воды и береговых трав. На сиреневом небе поднялась медная луна.

Домой мы возвращались через деревню. Мальчишки носились по улице, сшибали ветками майских жуков и громко выкрикивали известное заклинание:

Жук, жук, ниже!
Я тебя не вижу!

Сладкая усталость волнами разливалась по телу. В голове шумело от обилия впечатлений, и хотелось спать, но когда мы пришли домой, неугомонный Володя достал полученную с почты книжку и прочитал нам на разные голоса смешной рассказ Чехова «В бане». Значит, все это было в 1903 году, когда к «Ниве» давали в приложении сочинения Чехова. Мне было тогда двенадцать лет.

«Бриллиантового князя» я увидел много времени спустя на портрете Боровиковского в Третьяковской галерее.

Он стоял блестящий и надменный, в своем камзоле золотой парчи, весь в алмазных звездах и орденских лентах. Выражение брезгливой пресыщенности было написано на его стареющем лице. Ни одна эпоха русской истории не имела стольких выдающихся портретистов, как эта, а среди холстов Боровиковского портрет князя Куракина принадлежит к числу его лучших произведений по маэстрии выполнения и по тонкости характеристики.

Тщеславный князь добился-таки желаемого: стал известен потомкам как оригинал прославленного портретиста.

Федор Антонович

I

Учитель математики объяснял нам на доске теорему. Закончив доказательство, он положил мел и торжественно заключил:

– Итак, если внутренние накрест лежащие углы равны, то линии па-ра… Что?

– ллельны! – взревел весь класс дружно.

Учитель вынул из жилетного кармана часы с серебряными крышками и начал их тереть запачканными мелом пальцами.

У него была привычка чистить их таким способом каждый раз после урока, и часы были расчищены до поразительного блеска.

Прозвонил звонок.

Следующий урок был закон божий. Законоучитель поп Василий, лысый, с белой бородою, долго водил пальцем по классному журналу, истомив всех ожиданием, и наконец вызвал:

– Митин Агафон!

Урок был трудный: о ересях. Агафон не знал урока и «плел лапти».

Поп Василий посмотрел на него поверх очков и изрек укоризненно:

– Отолсте́ бо, ожире́ и забы бога…

И поставил двойку.

И правда, Агафон был малый толстый, круглолицый, краснощекий. Волосы на косой пробор, гладко приглажены, под серой блузой крахмальный воротничок, на носу очки – вид аккуратный, добропорядочный. Двойка его как будто мало огорчила. На перемене он подошел ко мне и сказал, улыбаясь:

– Вот подловил, лысый черт! Наплевать, еще успею исправить… На каток сегодня пойдешь?

Может быть, он и был огорчен, но нарочно старался казаться отчаянным. Он набивался ко мне в товарищи, а я относился к нему сдержанно: все эти приметы – и воротничок, и проборчик, и чистый носовой платочек, и начищенные ваксой ботинки в нашем демократическом «градском» училище были не в чести и всеми ребятами презирались.

Вечером на катке мы встретились, а после катка Агафон стал меня упрашивать, чтобы я пошел к нему.

– Про двойку сказал дома?

– Нет еще.

– Выволочки боишься? За меня спрятаться хочешь?

– У нас выволочки не бывает! – возразил Агафон гордо. – Просто я давно уже обещал Федору Антоновичу привести мальчика, который хорошо рисует.

– Кто это Федор Антонович?

– Мой приемный отец.

Я вспомнил, как кто-то рассказывал, что Агафон взят из бедной семьи на воспитание.

– А далеко идти?

– На Калгановку.

Это было недалеко.

Я забежал домой, забросил коньки, сунул под мышку папку с рисунками, и мы пошли.

II

Дом на Калгановке был большой и просторный. Над входом я прочел: «Агентство страхового общества „Россия“. У Агафона была отдельная комната, маленькая, но своя. Он зажег лампу на столе. Боже, какое великолепие: лампа под зеленым абажуром, железная кровать, этажерка с книжками – даже завидно!

Нас позвали в столовую пить чай. Под большой висячей лампой у самовара сидела Зоя Аркадьевна, барыня в пенсне, с черными седеющими волосами. Федор Антонович сидел сбоку стола и читал газету «Русские ведомости».[5] Агафон сказал:

– Вот Коля Кузьмин, из нашего класса ученик, который хорошо рисует.

Федор Антонович улыбнулся:

– Вот и молодец, что пришел, – и поздоровался со мной за руку.

Зоя Аркадьевна налила нам с Агафоном по большой чашке чаю с молоком и сама положила сахару по три куска. Федору Антоновичу она налила крепкого чаю без молока в стакан, вставленный в серебряный подстаканник. Столовая была оклеена темно-красными обоями с ковровым узором. В переднем углу висели вместо иконы маленькое «Моление о чаше» Бруни, а на стене круглый барометр и два портрета – Белинского и еще какого-то дяди в очках. Портрет Белинского я копировал из журнала и знал раньше, а про очкастого спросил Агафона шепотом:

– Кто это?

Агафон посмотрел на меня с удивлением и сказал:

– Чернышевский.

– Где же рисунки? – полюбопытствовал Федор Антонович.

Агафон принес мою папку, и рисунки пошли по рукам. Тут были и видики, срисованные из «Нивы», и портреты товарищей, и карикатуры на учителей. Математик, начищающий свои часы, был очень похож и вызвал общее одобрение.

– Молодец, ну прямо талант, – проговорил Федор Антонович. – Правда, Зоя Аркадьевна?

Та смотрела через пенсне, отставив рисунок на длину руки, и соглашалась, что талант. У меня горели уши от похвал. Похож был и поп Василий, как он глядит поверх очков, выбирая, кого вызвать. Агафон ввернул под шумок, что поп его сегодня вызвал и поставил двойку.

Зоя Аркадьевна всполошилась:

– Как же так, Агафончик?

Агафон принес учебник:

– Очень трудный урок! Глядите, Зоя Аркадьевна, сколько их: ариане, евсевиане, несториане, монофизиты, монофелиты… Один говорит одно, другой другое – ничего не разберешь.

Все согласились, что правда – урок трудный.

После чаепития Федор Антонович увел нас в свой кабинет, набил из коробки гильзу табаком и закурил. В кабинете стояли клеенчатый черный диван и стол с зеленым сукном, на котором лежали сложенные в порядке бумаги, письменный прибор и маленькие весы для взвешивания писем. Над столом – держалка для бумаг с зажимом в виде медной маленькой человеческой ручки. В углу стоял пресс для снимания копий с бумаг, как я узнал потом. По стенам были полки с книгами. Я принялся читать названия на корешках. Федор Антонович спросил:

– Ты любишь читать?

– Угу.

– А что ты теперь читаешь?

– Виктора Гюго.

Я только что прочитал роман «Человек, который смеется» и был полон впечатлениями от его поразительных образов. Многие куски я помнил наизусть:

«Урсуса и Гомо связывали узы нерасторжимой дружбы. Урсус был человек, Гомо – волк».

«Чему ты смеешься?» – «Я не смеюсь», – ответил мальчик. «В таком случае – ты ужасен!»

«Гуинплен увидел нечто страшное – нагую женщину!»

«Кто вы? Откуда вы явились?» Гуинплен ответил: «Из бездны!»

– Что же ты читал Виктора Гюго?

Я принялся рассказывать. Федор Антонович слушал благосклонно:

– У тебя хорошая память. Дать тебе «Гулливера»?

– Я читал.

– А «Робинзона Крузо»?

– Тоже читал.

– Гм, ну а вот это?

Он достал с полки томик Эдгара По (тогда писали: Поэ) в издании Пантелеева.

– Возьми с собой, но только обходись с книжкой бережно, не пачкай. Покажи-ка руки. Эге, брат, у тебя на ногтях траурные каемки, это не годится. А уши чистые? Вот уши у тебя красивые. Зоя Аркадьевна, посмотрите, какой красивой формы уши у Николая.

Зоя Аркадьевна вошла, поглядела сквозь пенсне и тоже похвалила мои уши.

III

Я шел домой с папкой и томиком По под мышкой и думал: «Какие интересные люди! Как не похожи они на всех наших знакомых!» Наши гости, когда замечали меня, обычно старались озадачить головоломкой про сто гусей или бессмысленным вопросом, вроде: «Сколько у семи быков ушей и хвостов?» Гусей оказывалось совсем не сто, а тридцать шесть, а у быков, мол, у шеи хвосты не растут.

На другой день я с утра старательно вычистил ногти, а в классе все приглядывался, какие у кого уши. Верно – уши бывают разные: большие и маленькие, прижатые и оттопыренные, у одних аккуратные, туго скрученные, как молодой груздок, у других широкие и плоские, как лопухи.

У Агафона я спросил мимоходом:

– Что это за траурная каемка?

– Кто помрет, посылают такое письмо с черной полоской по краям, пониме?

Он уже разговаривал со мной тоном глупого превосходства. Это надо пресекать.

Я поглядел на его уши. Уши были большие и некрасивые.

В томе По, который мне дал Федор Антонович, были «Золотой жук», «Убийство на улице Морг», «Приключения сэра Артура Гордона Пима».

Я поглощал книги с жадностью и всегда испытывал книжный голод. «Книжки менять!» – возглашал раз в неделю скучным голосом учитель и торопливо совал в руку тощий номер «Детского отдыха», который я проглатывал в один вечер. Теперь для меня открылся новый источник.

За Эдгаром По последовали тома Брет Гарта и Марка Твена, «Малыш» и «Джек» Альфонса Додэ, «Серапис» Эберса, Тургенев, рассказы Гаршина, Короленко и Горького. Каждый вечер меня тянуло к новым знакомым, даже если и не надо было менять книги.

– Тебе понравился Гофман? – спросил Федор Антонович, когда я возвращал «Повелителя блох».

– Здорово пишет.

– Странно, я к нему почему-то не чувствую никакого вкуса.

Он разговаривал со мной уважительно, как со взрослым, и мне это нравилось. Вообще мне в этом доме нравилось все. Здесь разговаривали друг с другом, никогда не повышая голоса, не кричали на прислугу, не устраивали Агафону скандала из-за двойки и порванных штанов, даже с кошкой и собакой

обходились ласково. Здесь было много книг и журналов, за столом у них я никогда не видел шумной компании за водкой или картами.

Впрочем, было и непонятное, над чем я напрасно ломал голову.

Почему на «вы» друг с другом Зоя Аркадьевна и Федор Антонович? Почему у них разные фамилии? Разве они не муж и жена? Почему все страховые бумаги он не подписывает сам, а дает на подпись ей?

Я привязывался к Федору Антоновичу с каждым днем все больше и уже ревновал его к Агафону.

Когда у Агафона болела голова, ему ставили градусник под мышку, укладывали в постель, а на лоб клали мокрую салфетку. Он важно лежал на белой подушке под ворсистым одеялом. Зоя Аркадьевна приносила ему горячего, очень сладкого чаю. Все это мне казалось барской блажью. Ну, еще Зое Аркадьевне простительно, а чего Федор Антонович ходит с озабоченным видом и щупает ладонью Агафонов лоб – нет ли жара? Что за телячьи нежности! У нас дома, когда кто жаловался на головную боль, говорили: «Голова болит – брюху легче!»

IV

Однажды Федор Антонович, разглядывая мои тетрадки, заметил:

– У тебя, Николай, хороший почерк. Хочешь иногда помогать мне переписывать бумаги?

И вот мы сидим с ним вдвоем в тесном кабинете за страховыми документами. Агафон в своей комнате готовит уроки, и я доволен, что он не мешает. Горит ярким зеленоватым светом керосиновая лампа с ауэровским колпачком[6] (колпачок этот очень хрупкий, и Федор Антонович собственноручно священнодействует каждый вечер над заправкой лампы). Мы сидим по обе стороны стола и молча пишем. Но вот Федор Антонович оторвется от бумаг, закурит папиросу и станет рассказывать о Петербурге, о книгах, о людях. Я его украдкой разглядываю, чтобы нарисовать по памяти дома. У него красивое, узкое лицо испанского дворянина, выпуклые серые глаза под тонкими веками, прямой хрящеватый нос, седеющие виски, бородка, как у Дон-Кихота. На ходу он прихрамывал.

Почему он, петербургский житель, очутился в нашем захолустье? Я не осмеливаюсь спросить. В Петербурге у него братья, сестра, племянница. Он рассказывает, как за его красавицей теткой ухаживали Михайловский и одновременно Муравьев, будущий министр юстиции.

– А она кого выбрала?

– Какой же тут мог быть выбор – один красавец, кумир молодежи, а Муравьев с квадратной головой – ведь это его Семирадский изобразил потом в виде Нерона на картине «Светочи христианства».

Снова молчание и скрип перьев.

– Федор Антонович, а можно сказать: «Заблуждение автора в лесу»?

– Это кто же отличился?

– Сегодня учитель Суть писал на доске план «Бежина луга».

– Какой остолоп! А почему он Суть?

– Так его прозвали. Он всегда твердит: «Ты мне не болтай лишнего, а скажи самое сушшественное, самую суть». А что значит «презумпция»?

– Найди сам у Павленкова, вон возьми на полке, учись пользоваться словарем.

Он отбирает пачку бумаг и говорит:

– Снеси Зое Аркадьевне на подпись.

Я не нахожу Зою Аркадьевну в комнатах, возвращаюсь и

говорю:

– Их там нет.

– Ты бы еще сказал: их нет-с! Это все лакейские остатки крепостного права. Надо говорить: *его* нет, ее нет!

Запомни!

Вот оно что, а я и не знал! И отец, и мать, и все кругом всегда говорили, когда хотели показать почтительность, вместо он, она – *они.*

Часто мы говорили о прочитанных книгах. Он всегда упрекал меня за неразборчивость и всеядность в выборе книг. У нас дома выписывали «Вокруг света». В журнале печатался роман Буссенара, а в приложении давали сочинения Гюго. Я и Буссенара заглатывал с упоением, но соображал, что об этом надо помалкивать, а вот за великого, могучего, великолепного Гюго я, как петух, бросался в драку, понимая, что здесь мы во вкусах равноправны. Я даже позволял себе поддразнивать Федора Антоновича, цитируя по памяти вслух особенно эффектные фразы Гюго. Федор Антонович морщился:

– Не люблю я твоего Гюго. Все у него, как в лупу, – увеличено в десять раз.

Теперь я ходил к Федору Антоновичу ежедневно. Дома сперва глядели на это косо. «Опять к агенту? В своей-то избе навозом пахнет?» Но когда я каждую неделю стал приносить заработанные перепиской деньги и гордо выкладывал на стол горсть серебра, мать приходила в умиление.

V

Летом Федор Антонович стал меня брать с собой в поездки по своим уездным клиентам.

– Приходи с вечера, – сказал он однажды, – у нас переночуешь, а по холодку на рассвете выедем.

И доложился дома, что иду к агенту с ночевкой и завтра уеду на весь день.

– Вымой ноги, надень крепкие носки да и белье заодно смени! – приказала мать.

Постель мне приготовили в кабинете на клеенчатом диване. Я лежал на чистой простыне под приятно пахнущим пододеяльником и белым тканьевым одеялом, смущенный всем этим стеснительным великолепием. Дома я спал где придется: то на сеновале, то на погребице, то на полу в чулане, где попрохладней. На новом месте мне плохо спалось, и я встал с шалой головой.

На Федоре Антоновиче был холщовый пыльник, белая кепочка. Я взобрался на таратайку рядом с ним. Лошадью он правил сам. Безлюдные улицы, мост, река. Вот место, где я с ребятами купался. Все выглядит странно непривычно в этот ранний час. Вот Заречная слобода, озеро Кочкари, богатое карасями, серые ветряные мельницы.

Мы ехали открытым полем, когда брызнуло солнце. Над лугами поднимался туман. Начинался жаркий день.

Мы заезжали в села и усадьбы, мерили рулеткой стены домов и сараев, потом садились в холодке, составляли планы, описи, акты.

Полуденный зной пристиг нас в большом степном селе, возле кирпичной, крытой железом лавки богатого мужика. Мы возились с рулеткой и мерили, когда к нам подошли двое мужиков и сняли картузы. Старший спросил:

– А вы, господин, не межевой будете?

– Нет, отец, не межевой.

– Поедет теперь ради вас межевой! Он, поди, в холодке сидит, пивко попивает. Ведь жарища! – скалит зубы лавочник.

– А зачем вам, отцы, межевой?

Федор Антонович расспрашивает, вникает, дает советы.

– Да ну их! – отмахивается лавочник. – Все их басни не переслушаешь. Пожалуйте в горницу, чайку откушать.

Федор Антонович смотрит на часы:

– Сердечно благодарю, Канафей Федорыч, никак не могу, время не позволяет – до темноты еще в три места попасть надо.

Мы отъезжаем от гостеприимного лавочника, едем по пыльной улице, вспугивая кур, мимо сонных, низеньких, крытых соломой изб.

– Не люблю я этого Канафея, – говорит Федор Антонович, – плут и выжига.

У первого лесочка мы делаем остановку.

– «Стой, ямщик, жара несносная – дальше ехать не могу…» Да, помнится, тут и родничок где-то поблизости есть.

Федор Антонович распрягает лошадь и ставит ее в холодок. «Все-то он умеет делать – и распрячь и запрячь», – думаю я. Он достает из-под сиденья еду, мы закусываем, запивая родниковой водой. Федор Антонович закуривает папироску и растягивается на траве.

– А помнишь, Николай, как дальше в «Песне Еремушке»:

Жизни вольным впечатлениям
Душу вольную отдай,
Человеческим стремлениям
В ней проснуться не мешай!

Я подхватываю:

С ними ты рожден природою,
Возлелей их, сохрани,
Братством, истиной, свободою
Называются они!

– То-то, брат, помни эти святые слова!

Мы лежим и разговариваем, ждем, когда посвалит зной. Он знает много стихов и читает наизусть из Некрасова, Курочкина, Шумахера, вспоминает Петербург:

– В эту пору там белые ночи.

Он рассказывает, как в такие ночи красива Нева, о ее гранитных набережных, о разводных мостах, о сфинксах. И без видимой связи говорит:

– Вот музыки мне не хватает. Правда, жена судьи поет иногда у нас…

После привала мы заехали еще в одно место – к Нарокову. Мелкопоместный барин Нароков женат на крестьянке. Он ходит в рубахе, подпоясанной лычком, в опорках на босу ногу. Голова бритая, а борода лохматая, клоками.

Появляются сын-студент, в суровой блузе и сапогах, с папироской и книжкой «Русского богатства» в руках, и две девочки-гимназистки, постарше и помоложе, быстроглазые и смешливые. Нас угощают малиной с молоком. Нароков рад гостю до смерти – сразу сцепился в жарком споре с Федором Антоновичем. Мать – степенная, полная женщина с певучей простонародной речью – говорит младшей девочке:

– Нюрочка, покажи молодому человеку сад!

Нюрочка ведет меня по шаткому скрипучему крылечку в садик, где растут десятка два яблонь, малина пополам с крапивой, смородина, крыжовник.

– Кушайте крыжовник, – говорит Нюрочка вежливо, подведя меня к кусту крыжовника, осыпанному ягодами.

– Благодарю вас, – отвечаю я так же учтиво. – Он, верно, кислый еще.

– Сладкий как мед, – говорит Нюрочка, стрельнув глазами, и

прыскает со смеху. Мы оба смеемся.

«Какая прелестная – „хариты, Лель тебя венчали и колыбель твою качали“, – думаю я, уже готовый влюбиться с первого взгляда и на всю жизнь.

От Нароковых мы выехали в сумерках. Быстро опустилась на землю ночь. В темноте мы заблудились. Лошадь стала среди поля. Федор Антонович, хромая, пошел искать потерянную дорогу. Скоро его шаги затихли. Я остался один у лошади. Надо мной торжественно мерцало звездное небо. Глухая тишина стояла в поле, даже жутко было. Какой хороший, какой удивительный человек Федор Антонович! Как будет мне памятен этот длинный летний день!

– Ау! – раздалось издалека. – Правь на меня!

Я шевельнул вожжами и выехал на голос. Федор Антонович влез в тележку и взял вожжи:

– Пустяки, дали малость крюку, через часок будем дома.

Почти у самого города я выдавил из себя вопрос, который весь день висел у меня на языке:

– Федор Антонович, а почему вы уехали из Петербурга?

Он ответил не сразу:

– «Вырастешь, Саша, узнаешь…»

Я знал, откуда это. Это была строчка из поэмы Некрасова «Дедушка». А дедушка этот был «политический».

VI

Случались у нас и ссоры, в которых я был кругом виноват. Однажды к Федору Антоновичу пришел гость – молодой человек в форме студента Военно-медицинской академии. С ним был его брат – кадет, рослый мальчик, рыжий, румяный, в веснушках. Мы с Агафоном бегали на дворе, и кадета прислали к нам играть. Он прежде всего попросил пить и выпил подряд две кружки воды.

– Во что будем играть? В крокет? В лапту? В прятки?

– Давайте бороться на поясах, – предложил кадет.

После непродолжительной возни и сопения он по очереди положил на лопатки меня и Агафона. Ну еще бы! У них в кадетских корпусах развивают физическую силу, гимнастикой занимаются всерьез, а не так, как у нас в городском училище!

От возни у кадета оторвался крючок на брюках.

– Это оттого, что я воды надулся. Ce sont des… пустяки. Давайте иголку с ниткой.

Пока он пришивал крючок, мы с Агафоном обнаружили, что на всех его вещах: на подкладке брюк, на блузе, фуражке, ремне – всюду стояли штемпеля с буквами СКК: Симбирский кадетский корпус.

– Все казенное? – спросили мы с почтением.

– С головы до пят – солдат Яшка, медна пряжка.

Он с милой готовностью снял сапог, на коротком рыжем голенище которого с внутренней стороны стояли те же буквы. На ноге вместо носка мы увидели белую портянку, тоже со штемпелем. Быстро и ловко, как фокусник, он размотал портянку, встряхнул ее, замотал снова, всунул ногу в сапог, вскочил и отдал честь, уморительно выпучив глаза. Мы хохотали.

Потом мы стали брызгаться водой из бочки. Потом бегали по двору и кидались друг в друга подушками, которые кухарка разложила на дровах для проветривания. Мы носились как угорелые и вопили во все горло. Игра была в полном разгаре, когда вышла во двор Зоя Аркадьевна. она строго посмотрела на нас сквозь пенсне и сказала:

– Господа, довольно свистопляски. Умойтесь, и пойдем в Засеку.

Засекой называлась небольшая рощица за городом на берегу реки.

Впереди нашей компании бежал старый пойнтер Гектор, пес ленивый и сытый, имевший низменную привычку удирать с прогулки на свалку лакомиться падалью. Возвращался он с виноватым видом, облизывая морду и распространяя вокруг себя

отвратительный запах стервятины. Его стегали ремнем, но каждый раз он удирал снова.

Мы, мальчишки, шли позади взрослых, не переставая дурачиться. Кадет, заметив, что Федор Антонович припадает на ногу, плутовато подмигнул мне на него. Я, расшалившись, стал передразнивать за спиной Федора Антоновича его походку. Кадет и Агафон фыркнули. Федор Антонович обернулся и взглянул на меня. Он понял все.

Мое оживление разом погасло. Чего распрыгался? Глупый щенячий восторг. Ты мальчишка и дурак. А кадет – мерзавец, сам подмигивал, а теперь идет с невинным видом. Лучше бы мне было уйти домой читать Конан-Дойля.

Тут Гектор прижал уши и побежал галопом по направлению к свалке. Все принялись кричать:

– Гектор, назад! Гектор, тубо!

Но где там!

Пока мы гуляли, Федор Антонович и виду не подавал, что заметил мою предательскую низость. Мы отдыхали под старыми ветлами на берегу реки. Студент оказался любителем фотографии, он усаживал нас в группы и щелкал своим «кодаком». Возвращались мы в сумерки берегом реки мимо плетней, обвитых побегами тыквы. В городе студент и кадет распрощались. Мы остались вчетвером. Я хотел тоже идти домой, но у калитки Федор Антонович сказал:

– Зайди ко мне на минуточку.

Лучше бы мне провалиться сквозь землю!

И вот мы с ним с глазу на глаз у него в комнате. Он не устроил мне общественного судилища в присутствии Зои Аркадьевны и Агафона. Он грустно глядел на меня, качая головой:

– Ну-с, Николай, что же ты мне скажешь?

Что мог сказать я? Скажи ты сам. Ты – умный, взрослый, все понимающий. Ну скажи: «Ты мальчишка, сопляк. Я напрасно разговаривал с тобой всерьез и дарил тебя доверием. Но я понимаю, что ты расшалился, захотел показать себя этаким сорвиголовой перед кадетом. Ты сделал гадость нечаянно. Бог с тобой, тебе и самому теперь стыдно!»

У меня разрывалось сердце от горечи и раскаяния, но я стоял и молчал.

Внезапно он вспылил:

– Ну, если тебе нечего мне сказать, то ступай домой и подумай. Когда надумаешь – приходи.

Я шагал домой с чувством злобного отчаяния: «Ну и пусть, ну и черт побери все».

На другой день он прислал за мной Агафона. Я ждал тягостного объяснения, но он даже не упомянул о вчерашнем. Он действительно все понимал.

Но у нас бывали разногласия и «идейного» порядка. В «Журнале для всех» были напечатаны снимки с картин Франца Штука. Они меня потрясали до мороза по коже. Я их рассматривал с утра до вечера. Какие невиданно грандиозные сюжеты: «Сфинкс», «Люцифер», «Грех», «Война», «Голгофа». Я сразу же принялся копировать «Войну». Мрачный нагой всадник со злым, беспощадным лицом на страшной оскаленной лошади едет по скорченным трупам под черным небом. А какие глазищи у «Люцифера», какой взгляд у «Бетховена»!

Федор Антонович не разделял моих восторгов.

– Это, брат, у тебя нездоровое увлечение! Все эти Люциферы, Сфинксы, Сирены, с одной стороны, – явное декадентство, с другой – пустоутробие, что, впрочем, одно и то же.

Однако относительно «Войны» он согласился, что в ней есть «прогрессивная идея».

VII

Мы с Агафоном были уже в последнем классе городского училища. Агафон с зимы начал зубрить латынь и языки: готовился сдавать экзамен в пензенскую гимназию. Когда кончит ее, будет дальше учиться на доктора. А я стоял на распутье. Окончивший городское училище мог поступить в телеграфисты или в конторщики. Отец уговаривал меня:

– Садись-ка, сынок, на каток, берись за иголку. Будешь закройщиком, плохо ли? Знаешь, сколько получает закройщик у Манделя?

Матери хотелось, чтобы я продолжал учение, – но где? В нашем городке не было ни гимназии, ни реального училища, а ехать в губернский город «потрохов не хватало».

Девчонкам в городе повезло больше – к нам приехала группа молодых учителей из Саратова открывать частную женскую гимназию. В доме страхового агента у них было что-то вроде штаба. Будущая начальница – Архелая Романовна Янович, совсем непохожая на начальство: хрупкая, миниатюрная, с громадными глазами и пышной прической, деловая и энергичная, – сидела с ножками на диване и, как Наполеон, отдавала распоряжения своим маршалам.

Уже был нанят под классы большой дом, привезены парты, заказан инвентарь. Занятия еще не начинались, но неугомонная

Архелая затеяла вечерние курсы французского языка.

И вот я сижу за партой рядом со своими вчерашними учителями из городского училища и барышнями, жаждущими просвещения, и «настоящая» француженка мадемуазель Пикар обучает нас по системе Берлица, забавно картавя: «Позовитэ – апле, принэситэ – апортэ, шерниля – лянкр, шернильниса – лянкрие, спишки – лезалюмет…»

Один из учителей свиты Янович, словесник, длинноволосый и бледный, человек, по-видимому, великой учености, писал философское сочинение, о котором все товарищи и сама Архелая говорили с глубоким уважением. Словесник посылал письмо Толстому, спрашивал о цели жизни, и Толстой ему ответил. С толстовским письмом он не расставался, носил его всегда в боковом кармане в бумажнике и иногда показывал любопытствующим. Словесник-философ искал переписчика, Федор Антонович рекомендовал ему меня.

– Я ему сказал, что ты парень раннего развития. А он сразу: «Коля Красоткин?» Я говорю: «Нет, совсем не похож, разве самую малость. Да нет, конечно, совсем, совсем не то».

– Кто этот Коля Красоткин?

– Когда-нибудь прочитаешь в «Братьях Карамазовых».

Я не стал дожидаться и постарался достать роман Достоевского. Коля Красоткин не показался мне достойным внимания, но кроткий Алеша очень понравился. Не уйти ли в самом деле в монахи? У нас под городом недавно возник скит, где спасался некий отец Андрей. Жаль только, что он мало был похож на идеального старца Зосиму из романа.

Я пошел к учителю-философу. Он жил одиноко, в комнате было по-девически чисто и прибрано, а на столе полный порядок. Зябко кутаясь в клетчатый плед, учитель в ковровых туфлях мягко шагал по комнате, пока я у стола на разложенной салфеточке

управлялся с ненужным стаканом чаю, от которого не посмел отказаться. Он вручил мне черновик для переписки – клеенчатую тетрадь с первой главой философского сочинения.

– Покажите, пожалуйста, письмо Толстого, – попросил я.

Он достал скромный листочек. Простая линованая бумага, уже протертая на сгибах. Проволочный крупный почерк. Слов я не разобрал.

Первая глава философского трактата называлась «О значении моральной проблемы». Затем шли главы, излагающие философские системы XVIII–XIX веков, начиная с Бентама. Глав было много, и я надолго был обеспечен работой. Беда только в том, что теперь целый день приходилось корпеть за перепиской, и к Федору Антоновичу мне удавалось вырваться лишь ненадолго вечером.

– Ну что, сыт философией? – интересуется Федор Антонович. Он, кажется, недолюбливает учителя-философа да и трактат его ценит невысоко.

VIII

Наступил 1905 год. В доме страхового агента появилось множество новых людей. Толстый, веселый землемер, ходивший в вышитой русской рубашке, особенно пришелся ко двору и в спорах всегда держал руку Федора Антоновича. Философ-учитель и Архелая составляли другую партию. Приходили какие-то люди в синих косоворотках и широких кожаных поясах – эти не маячили на глазах, а шли с Федором Антоновичем в его кабинет и потом исчезали незаметно. По рукам ходили новые номера сатирических журналов «Пулемет», «Зритель», «Жупел», «Жало», «Стрелы», замелькали названия новых газет, дотоле неведомых. Федор Антонович ходил в эти дни веселый, как живою водой спрыснутый.

– Смотри, Николай, вот он – «Его рабочее величество пролетарий всероссийский!» – Он показывает мне рисунок в «Пулемете» с этой вызывающей подписью.

Карикатуры в журналах ошеломляли неслыханной дерзостью. «Орел-оборотень, или Политика внешняя и внутренняя» – называлась карикатура в «Жупеле», смотришь прямо – двуглавый орел, а переверни рисунок – царь в короне показывает голый зад. Было жутко и непривычно, что так издеваются над царем, которого еще вчера вся Россия считала земным богом.

В это время я впервые услышал о Герцене, о «Народной воле», о социал-демократах, прочитал «Подпольную Россию» Степняка-Кравчинского и «Записки революционера» Кропоткина. Однако я мало еще разбирался в политических разногласиях. Когда на выборах в Государственную думу депутатом прошел философ-учитель, Федор Антонович был недоволен и говорил, что победило «пустоутробие», – он любил это щедринское словечко.

– Но почему, почему, Федор Антонович, ведь он тоже симпатичный?

– Видишь ли, он в трех соснах заблудился, да нет, ты в этом не разберешься, ты вон даже Железнова не осилил.

Что правда, то правда – толстую «Политическую экономию» Железнова я принимался читать, но застрял на первой главе.

IX

Агафон учится теперь в гимназии в Пензе и приезжает только на каникулы. У Зои Аркадьевны живут «на хлебах» обе сестры Нароковы, учатся в гимназии Янович. Со старшей – Ольгой, бойкой, огненной девочкой, – мы давно на «ты», но Нюрочка держится со мной чинно и недоступно. Из шумной столовой она уводит меня в пустую гостиную. В гостиной темно, на полу лунные квадраты. Нюрочка открывает окно и говорит шепотом:

– Давайте смотреть на луну. Ни слова, ни звука, ни движения.

И мы сидим у окна безмолвно рядом, но не касаясь друг друга. Нюрочка не позволяет даже взять ее за руку. Иногда меня разбирает смех, но Нюрочка только бровью поведет и не взглянет даже. Сказано: смотреть на луну. Вообще она держит меня в строгости, то милостива, то сунет записку: «Мы не должны встречаться три дня», и я подчиняюсь, не хожу и даже о резонах не спрашиваю.

А с Федором Антоновичем у нас все чаще вспыхивали разногласия во вкусах. Однажды я принес ему показать номер журнала с рисунками Врубеля. Врубеля я только что открыл и восхищался им безмерно. Федор Антонович смотрел на снимки с явным неодобрением, с возмущением даже.

– Какая чушь, какая галиматья, эк куда тебя заносит, Николай, – повторял он, качая головой.

Наткнувшись на рисунок «Бессонница», изображавший смятую постель, он расхохотался, схватил старый конверт, нарисовал на нем ночной горшок и бумажку возле и надписал: «Расстройство желудка». Я ушел, оскорбленный в лучших своих чувствах.

Политическая оттепель продолжалась недолго. Женскую гимназию у Янович отобрали в казну и прислали начальницей строгую толстую мадам, которой повсюду мерещились завитые локоны у гимназисток, и она всех кудрявых девочек водила к крану и собственноручно мочила им волосы – проверяла: завивка или природные кудри?

Открыли наконец и для мальчиков реальное училище, в которое поступил и я.

Учителя реального училища ходили все в форменных мундирах, были приличные и скучные чиновники. По воскресеньям нас, реалистов, парами стали гонять к обедне. Педеля таскались по квартирам иногородних учеников, живших «на хлебах», рылись в сундучках, искали прокламации, которые в ту пору, размноженные на гектографе, появились во множестве.

Теперь я уже не занимаюсь перепиской. После школьных занятий, едва пообедав дома, я бегу на уроки к мальчишкам-двоечникам и повторяю с ними «зады». Учителя строгие, двоек бездна, и моя репетиторская практика все растет. Возвращаюсь домой в одиннадцатом часу и едва успеваю готовить собственные уроки.

Репетиторством я порядочно зарабатываю и имею возможность выписывать по каталогам книжки из Москвы. У меня на полке ряд монографий о Гойе, Россетти, Клингере, Ponce, Бердслее. Я больше не хожу их показывать Федору Антоновичу и в одиночку переживаю радости открытия «нового искусства». Я знаю, что мой выбор ему не понравится.

X

Мои визиты к Федору Антоновичу случаются все реже. Девочки Нароковы не живут там больше: их шалый папаша из-за чего-то не поладил с Федором Антоновичем, стал страховаться в обществе «Саламандра» и дочерей перевел на другую квартиру.

Вот оно, знакомое крылечко с вывеской «Агентство страхового общества „Россия“. Сколько раз я поднимался по нему за последние годы! И на этот раз у меня под мышкой „серьезная“ книжка, которую Федор Антонович давал мне „штудировать“.

– Прочитал? – говорит он строго.

– Осилил половину.

– Ну и что же?

– Скучновато, Федор Антонович.

– «Скучновато»! – сердится он. – Конечно, для тебя интересней:

В перила вперила
Свой взор Неонила,
Мандрилла же рыла песок!

Это он цитирует популярную в то время пародию А. Измайлова на стихи Бальмонта. Я ему неосторожно признался в своем увлечении книгой Бальмонта «Будем как солнце», которую достал в клубной библиотеке, и он не упускает каждый раз случая поязвить меня за тяготение к «декадентам».

Чтобы перевести разговор на другое, я спрашиваю об Агафоне.

– Что ж Агафон? – говорит он ворчливо. – Я за него спокоен. Агафон звезд с неба не хватает, но надеюсь, что честный работник на ниве народной из него выйдет. Ну, а ты как процветаешь?

Я процветаю плохо. Я вступил уже в тот тяжелый период мальчишеской жизни, когда грубеет и ломается голос, начинают расти усы, кожа на лице становится сальной, на самых неподходящих местах выскакивают глупые прыщи и молодой человек делается неловким и застенчивым.

Я отвечаю мрачно и неуклюже:

– От юности моея мнози борют мя страсти…

Он смотрит на меня пристально и, как мне кажется, насмешливо:

– Ну что ж,

Дай страсти, Киприда, дай больше мне страсти,
Восторгов и жара в крови,
Всего ж не предай одуряющей власти
Больной и безумной любви.

Это из Щербины. Поэт небольшой, а все же не твоему свистуну-Бальмонту чета.

Я мучительно краснею. Мне кажется, что намек «на одуряющую власть» обращен прямо в мою сторону.

– Федор Антонович, можно книжки сменять?

В дверях мальчик лет двенадцати с теми самыми книжками в руках, которые когда-то и я брал здесь.

– Разденься, Миша, проходи, я сейчас освобожусь, – говорит Федор Антонович ласково, как. бывало, со мной разговаривал. «Освобожусь» – значит, «уходи, Николай, не мешай разговору». Мне горько. Совсем рассохлась наша дружба. Я прощаюсь и ухожу. Но и то сказать: не век же ему со мной нянчиться.

XI

Вот так и расходятся человеческие пути. Идут годы. Я уже не посещаю этот дом, в который пять лет подряд ходил чуть не ежедневно.

Кто виноват, что прекратилась дружба? Конечно, я был виноват больше. Я возвращал Каутского и Туган-Барановского непрочитанными. Федор Антонович сердился: «Парень способный, а растешь невеждой в общественных науках». Он очень восхищался опытами биолога Лёба над химическим оплодотворением яиц морских ежей – об этом много писали тогда в журналах. «Понимаешь, Николай, насколько это важно?» Я не понимал и огорчал его своим равнодушием к опытам Лёба.

Теперь, когда мы встречаемся на улице, он ответит на поклон издали, не подзовет, не расспросит. Опираясь на палку, он медленно шагает, припадая на левую ногу. Волосы у него стали совсем седые.

Встреча с ним всегда вызывает у меня смятение чувств и какое-то горестное изумление перед изменчивостью и хрупкостью человеческих отношений. Вот проходит мимо, как чужой, человек, которого совсем еще недавно я в иные минуты любил больше родного отца.

Догадывался ли он когда-нибудь об этом?

Я кончаю реальное училище, уезжаю в Петербург учиться. Весной, в белые ночи, проходя над Невой мимо сфинксов, я вспоминал рассказы Федора Антоновича. Даже написал ему лирическое письмо по этому поводу, но письмо так и осталось неотосланным. А в летние месяцы, когда я приезжал домой на каникулы, случай часто сводил нас с Агафоном. Он теперь студент-медик, занимается летней практикой в нашей городской больнице.

– Как поживает Федор Антонович? – спрашиваю я. – Как его здоровье?

– Старик по-прежнему все с мальчишками возится, как, бывало, с нами возился. Без этого ему скучно. Ну, а ты как, все малюешь?

«Малюешь»! Вот дубина! Говорить нам, в сущности, не о чем.

Потом разражается война, я уезжаю на фронт и надолго пропадаю из родного города.

XII

Много лет спустя, весной 1918 года, после демобилизации нашего саперного батальона, я приехал на родину. На улице я столкнулся как-то с Агриппиной Прохоровной, барыней купеческого звания, бойкой и тараторливой.

– Отвоевался, ваше благородие? Ну погляди, полюбуйся, что у нас тут творится. Докатились, доехали, тпру – дальше некуда! Андрюшка-то медник, который самовары лудил, начальством заделался: власть на местах! Ну да ненадолго – скоро всем этим рабочим и собачьим депутатам конец будет.

– Откуда вам это известно?

– Да уж, верно, есть слух, что союзники на Черном море десант высадили, они «товарищам» покажут. А этот твой приятель, страховой-то агент, нечего сказать, отличился, с хорошей стороны себя показал!

– Чем же он отличился?

– А как началась заворошка эта, точно с цепи сорвался, все по казармам бегал, все митинговал, с речами выступал. А при новой-то власти сразу к ним и перекинулся. С солдатишками по богатым домам ходил, реквизиции делал – прямо срам! Заявился он к нам в дом с командой. Я ему говорю, а все, знаешь, во мне кипит: «Спасибо, говорю, что вы нас так хорошо страховали от пожара, только вот от денного-то грабежа и не застраховали!» Молчит, вылупил бесстыжие глаза, только губы скривил в усмешку, у-у, гад ядовитый, так бы его и придушила! Да не по его возрасту было заниматься такими делами: бог его прибрал скоро!

– Как? Умер Федор Антонович?

– А как же: хоронили, как знаменитую персону какую. Красные флаги, речи, салюты, полковая музыка: «Вы жертвою пали в борьбе роковой!» Он, оказывается, всю жизнь большевиком был, а мы про то и не ведали!

Рассказ старой сплетницы меня взволновал. Как это я сам не догадался, что Федор Антонович всегда был большевиком? Правда, мне трудно было представить того Федора Антоновича, какого сохранила мне память моего детства, в роли митингового оратора и вожака солдатских масс. А почему бы и нет? Ведь в 1905 году возле него всегда роилось много народу, его слушали и слушались, ему верили. По своему темпераменту он был бойцом, человеком кипучим и беспокойным. В спорах он был горяч и искусен. Любо-дорого было видеть, как победоносно сажал он в калошу своего вечного оппонента – философа-учителя, который, исчерпав все свои ученые доводы, умолкал с надутым и

обиженным видом.

По-видимому, Федор Антонович руководил тогда марксистским кружком. Я помню, как он давал «штудировать» собственный том «Капитала» К. Маркса кое-кому из «верных»: тому веселому землемеру в вышитой косоворотке, который во всех спорах держал его сторону, и еще одному сельскому учителю – лобастому молчаливому малому, про которого он говорил одобрительно: «Ну, этот осилит – светлая голова и упорство дьявольское!»

Какая жалость, что я не застал его в живых! Я не раз вспоминал о нем на фронте, особенно в те тоскливые минуты, когда жестокая бессмыслица войны вдруг покажется особенно невыносимой, жалость к себе перехватит горло и для утешения станешь перебирать в памяти простые и милые картины детства: родной дом на набережной, молодой ясень, посаженный отцом на улице перед окнами, гремучие родники по берегу реки, запах теплого летнего дождя, который мы пережидали в лесу под деревом, а Федор Антонович рассказывал нам интересные истории…

Я за эти годы и сам повидал многое: был в запасном батальоне, в военном училище, три года пробыл на фронте, побывал в наступлениях и отступлениях, был очевидцем и участником революционных дней в армии, был делегатом на бурном армейском съезде, ликовал вместе со всеми при вести о заключении мира, а после этого едва не попал в окружение при последнем отступлении до самого Новгорода. Словом, мне было бы о чем рассказать Федору Антоновичу.

Да и не в этом дело. Главное в том, что я любил этого человека, и мне радостно было бы видеть его в те трудные и пламенные, потрясшие мир дни, когда сбывались все его чаяния, когда победившая революция подняла его на гребень народной волны, счастливого и гордого сознанием, что жизнь его прожита не напрасно, и что дело, которому он служил, победило.

Урок анатомии

– Вы бы показали когда-нибудь нашим молодым людям» как все это делается на практике, – говорил не раз Федор Антонович студенту-медику Мите Гордееву. – Надо же им иметь представление о физиологических процессах в организме.

Федор Антонович уважал естественные науки. Все передовые люди занимались естественными науками и вскрывали трупы. А ведь это бывает опасно: вон Базаров еще студентом погиб, заразившись при вскрытии трупным ядом. И напрасно поэт Алексей Толстой насмехался в «Потоке-Богатыре» над курсистками за то, что они, мол, «потрошат чье-то мертвое тело». Это были девушки-героини. Они, вопреки воле родителей, убегали из родного гнезда, изучали медицину и боролись за женское равноправие. Пошло и глупо над этим потешаться.

Студент Митя Гордеев с утра до ночи бегал по урокам, добывая за летние месяцы деньги, на которые он будет существовать всю зиму в Петербурге. Он был очень гордый и принципиальный: не хотел материально зависеть от отца, с которым у него были крупные идейные разногласия. И конечно, у него совсем не находилось времени, чтобы еще и нам растолковывать анатомию. Поэтому мы с Агафоном даже удивились, когда прибежал как-то днем Митин брат-кадет и оповестил, что после обеда Митя будет анатомировать и приглашает нас смотреть.

– А кого резать будет? Лягушку? – спросил Агафон.

– Кого надо, того и будет резать, – сказал кадет в подражание

тому городовому из анекдота, который был поставлен на месте террористического покушения. Народ толпится, спрашивает: «Кого убили?» А городовой отвечает: «Проходите, не ваше дело! Кого надо, того и убили!»

Урок анатомии рисовался в моем воображении картиной Рембрандта: доктор Тульп в черной шляпе сидит возле трупа со щипцами, то ли с ножницами в руке и что-то объясняет, а вокруг вытягивают шеи чинные голландцы с острыми бородками, все в широких белых воротничках. А то была еще знаменитая картина Габриэля Макса – «Анатом». У всех гимназисток в альбомах была с нее открытка: мрачный худой мужчина сдергивает покрывало с мертвой нагой красавицы, распростертой перед ним на столе. Кадет провел нас прямо в сад и сказал:

– Вы ступайте пока в малину, а я сейчас.

День был жаркий. Высокие серебристые тополя гордеевского сада трепетали под солнцем, вдоль забора цвели мальвы, большая клумба пестрела цветами. В кустах малины младшая сестра Надя собирала ягоды.

С Надей мы большие друзья. Подружило нас наше общее увлечение книгами. В городе не было общественной библиотеки, а книги надо было «доставать». Мы и доставали их где только было можно, а прочитав, обменивались. Однажды по зиме я принес ей только что прочитанного мною «Пана» Кнута Гамсуна.

Вышла ее мать Варвара Львовна и сказала, что Надя больна.

– А впрочем, это не опасно. Разденься и пройди к ней. А что это за «Пан»? Пан Твардовский?

Надя лежала в постели под одеялом на белой высоко взбитой подушке. У изголовья на столе стояла лампа под зеленым абажуром. Варвара Львовна принесла нам чай с печеньем и оставила нас одних. Гордеевы жили в новом доме, с бревенчатыми, еще не штукатуренными стенами, и в Надиной комнате пахло смолистым сосновым духом.

– Почему – «Пан»? – спросила Надя. – Разве это с польского?

– Да нет же. Это другой Пан, с большой буквы. Ну, знаешь: Пан, пантеизм, «умер великий Пан»? Про природу – замечательно.

– Лучше Тургенева?

– Уж не знаю, лучше ли, но совсем по-другому.

– Ну расскажи, о чем это.

Я начал было рассказывать про лейтенанта Глана и Эдварду, но разве можно пересказать «Пана»?

– Нет, нет, я сама прочту, лучше не портить впечатления.

Она лежала на спине и смотрела на меня снизу своими темными блестящими глазами, немного побледневшая, очень

хорошенькая и трогательная от белой ночной кофточки и голой шеи. С этого вечера я в нее и влюбился.

Кадет вернулся, запыхавшись. В руках у него был котенок. Надя удивилась:

– Откуда у тебя киска, Андрюша? Что ты с нею собираешься делать?

– Фу, жарища! Вспотел даже. А ты, Надежда, уходи подальше. Слабонервных кисейных барышень просят удалиться. Пойдемте, господа, Митя в беседке ждет.

В беседке, увитой диким виноградом, на тесовом круглом столе была разостлана черная клеенка, а на ней – пинцеты, скальпели, ножницы, иглы, булавки, кувшин с водой, ванночка, клубок бечевки.

Сам «доктор Тульп» – Митя в грязноватом белом халате и с полотенцем через плечо раскладывал в ряд на столе свои инструменты.

– Действуй, Андрей, – сказал Митя, – да попроворней.

Кадет подмигнул нам с видом бывалого человека, которому эти дела не в диковинку, схватил со стола бечевку и вышел. Доктор Тульп сказал:

– Конечно, процедура не из приятных. Обычно на занятиях у нас животных убивают минут за двадцать до вскрытия парами хлороформа или эфира. А тут где же с этим возиться?

«Значит, Андрею поручена эта „неприятная процедура“. Однако незавидная роль у младшего брата: подай, прими, расколи, закинь!

Чей же это котенок? Откуда стащил его Андрей? А ну как хозяева хватятся и начнут его разыскивать?»

– А человеческие трупы вам вскрывать приходилось, Дмитрий Семенович? – спросил Агафон почтительно.

– А как же без этого? Прозектор[7] у нас старик замечательный. Иные новички никак не могут к трупному запаху привыкнуть. Он и говорит: «Здесь, господа, вы не на балу в Смольном институте. Нам на духи и одеколоны для опрыскивания мертвецов средств не отпущено. А дух этот самый натуральный. Все в природе воняет, и запах фиалки в близком родстве с запахом навоза. Так что выньте из ноздрей ментоловую вату и запомните раз и навсегда: медик не имеет права быть брезгливым».

Андрей вернулся с мертвым котенком. Вид у него был сияющий – прямо Персей, сразивший Горгону. Экий счастливый характер! Подлинный солдат Яшка, медиа пряжка: рыжий, румяный, улыбка во весь рот.

– Все руки, паршивец, исцарапал. Помажь-ка, Митя, йодом.

– Итак, приступим, – начал доктор Тульп. – Перед нами млекопитающее: кошка домашняя – felis domestica. В чем отличия млекопитающих? Шерстяной покров, сальные и молочные железы. Кого вы еще знаете из семейства кошачьих?

– Льва, тигра, леопарда, – сказал Андрей.

– Ягуара, барса, рысь, – сказал Агафон.

«Что, он нас за детишек считает, что ли?»

– Королевскую аналостанку, – сказал я, вспомнив рассказ Сетона-Томпсона.

Тульп раздвинул пинцетом губы котенка и показал зубы: резцы, клыки и остробугорчатые коренные, потянул пинцетом за усы и сказал: «Вибрисы – осязательные волосы».

«Усы ли, вибрисы ли – не все ли равно?»

Оттянув котенку шкурку на животе, он ножницами вспорол ее снизу доверху. Орудуя пинцетом и скальпелем, он ловко отодрал кожу от мяса и растянул ее в сторону, прикрепив к столу булавками. Андрей ему во всем помогал – верно, и вправду ему уже приходилось делать такое и раньше.

Тульп стал нам демонстрировать мышцы. Захватывая мышцу пинцетом, он называл ее по-русски и по-латыни.

– Обратите внимание, господа: вот здесь просвечивает сухожильная белая линия – linea alba. Волокна наружной косой мышцы брюха идут вниз и назад, а под нею находится внутренняя косая мышца, волокна которой перекрещиваются с волокнами наружной.

Мышцы тянулись и вдоль и поперек и так запутанно, что разобраться в них с первого разу не было никакой возможности.

– Делаем крестообразно разрез грудного пресса от лобкового сращения до мечевидного отростка. Вот грудобрюшная преграда – диафрагма. Она сейчас плохо различима. Проткнем ее, чтобы выпустить воздух в грудную полость. Теперь она отчетливо видна. Смотрите: два этажа разделены диафрагмой, которую прободают нисходящая аорта, нижняя полая вена и пищевод.

Потом он добрался до маленького котеночьего сердчишка и показал нам предсердия и желудочки и множество артерий. Для собственного удовольствия он называл их еще и по-латыни.

– Удаляем сердце и рассмотрим гортань, ход трахеи, ветвление ее на бронхи и легкие…

Было слышно, как в доме Надя играет на пианино гаммы. В соседнем саду варят варенье; детский голос кричит: «Васенька, беги сюда как можно скорее, бабушка пенок даст».

С реки, которая протекала неподалеку за садом, неслись радостные визги купавшихся мальчишек. Ах, хорошо бы сейчас выкупаться!

– Теперь приступим к рассмотрению кишечного тракта и связанных с ним органов. Длина всего кишечника в пять – восемь раз больше длины тела. Длинный прямой пищевод приводит к желудку – ventriculus. Место впадения пищевода находится посредине малой кривизны…

В беседку сквозь щели в крыше пробивались лучи солнца, золотыми зайчиками скользя по растерзанной кошачьей требухе, от которой неприятно пахло. По ней уже ползали зеленые мухи. Удивительно, как быстро они пронюхивают, где падаль.

«Бедняга Тульп – весь щетиной оброс, ему, наверно, и побриться некогда, а мы еще с анатомией к нему привязываемся. А скучное, в сущности, это занятие. Почти все из слышанного мы и раньше знали. В учительской, в углу, стоял скелет на подставке, и, когда там не было учителей, многие из нас, бывало, забегали потрясти его за руку. В старших классах по шкафам были расставлены муляжи человека без кожи, со всеми мышцами и разрез туловища с открытыми легкими, сердцем, желудком и всеми внутренностями. Зачем надо было душить котенка?»

Тульп посмотрел на часы и заторопился:

– Ну-с, я побежал.

И ушел.

Кадет принес лопату, и мы зарыли останки котенка в углу сада. Андрей запел гнусавым голосом:

– Со святыми упокой,
был котеночек какой!
И с ногами, и с ушами,
и с пушистой головой!

Андрей был добрый малый и хороший товарищ, но совершенный зулус. Придет, бывало, ко мне, пересмотрит все книжки на этажерке и скажет: «А у нас в корпусе таких книг читать не позволяют». – «Так возьми почитай». – «Понимаешь, совершенно нет времени».

Схоронив котенка, мы отправились на реку купаться, а заодно помыть клеенку и Митины хирургические инструменты.

Я спросил Андрея:

– Неужели тебе не противно было его душить?

– Давид играл на лире звучно —
Душить котенка очень скучно…

– Нет, серьезно, без юнкерской чепухи…

– Раз надо, так о чем философствовать!

Притворяется, конечно, «силу воли» показывает.

Когда мы вернулись, Надя встретила нас в саду с заплаканными глазами:

– Какие вы все противные, видеть вас не могу!

– Не горюй, Надюха, – сказал Андрей. – Его уже приняли в кошачий рай как мученика науки.

– Дурак! – крикнула Надя. У нее брызнули слезы, и она убежала, зажимая рот.

– Вот психопатка, – сказал Андрей. – Пойдем, в лапту, что ли, схватимся?

Но играть нам что-то не захотелось, и мы с Агафоном пошли по домам. Пропащий день! И этот несчастный котенок, и с Надей нехорошо получилось.

– А все-таки зря загубили котенка, – сказал я. – Что мы узнали нового? Все эти премудрости нам по картинкам давно известны.

– Нет, почему же? Я почерпнул кое-что. Мне приучаться надо. Я сам готовлюсь подвизаться на этом поприще.

– Черт с ним, с поприщем, еще успеешь наподвизаться. Нет, зря загубили котенка!

– Вот уж не думал, что ты такой сентиментальный. Это на тебя Надины истерики повлияли. А как же вивисекция? Наука требует жертв.

– Может быть, ты и прав, а все-таки противно.

Изгнание беса

Как-то в конце лета зашел ко мне мой приятель Санёка. Я сидел дома и перебелял для учителя-словесника женской гимназии его философский трактат.

– Бросай свою философию, пойдем к монахам. У них нынче после вечерни будут кликушу отчитывать. Любопытно.

– А кто сказал?

– Забегал Федька Рытов, божился, что не врет.

Федька, Санёкин сосед, ушел недавно ради легкой жизни с согласия своего отца-столяра в монахи, но по старой памяти все таскался домой. Монастырский устав у них в скиту был еще не строг, кельи для монахов стояли прямо в лесу, и даже забора кругом не было.

Мой приятель Санёка с нынешней весны сильно взялся в рост, раздался в плечах и перерос меня мало не на целый вершок. Теперь его постоянно наполняет беспокойное ощущение этого роста. Он то раздувает грудь и стучит по ней ладонями, то щупает свои мускулы, то сгибает руку и заставляет нас убедиться, какие твердые стали у него бицепсы. Беспокоят его и выступившие на лице прыщи, и он то и дело достает из кармана круглое зеркальце и озабоченно глядится в него, поворачивая голову и так и эдак.

Несмотря на прыщи, Санёка – красивый малый с белокурыми крупными кудрями; прямой нос его без изгиба переходит в линию лба, как на античных монетах с изображением Александра Македонского. Он – охотник до чтения и уже уткнулся в рукопись, где философ-учитель излагал учение Огюста Конта.

– Пошли, что ли, Александр Македонский?

По дороге нам нужно зайти еще к Сашке Лычагину, прихватить и его в компанию.

Санёка и Сашка друзья неразливные. Сашка – смугл, некрасив, с хмурыми гляделками и жесткими, прямыми, как у индейца, волосами, глядит Санёке в рот и слушается во всем.

В большую перемену в школе ходят они, бывало, вместе по коридору или по школьному двору, и Санёка, плавно жестикулируя, ораторствует:

– Каждый мыслящий человек обязан отдавать себе отчет во всех своих поступках!

Или:

– Каждый мыслящий человек должен рассуждать согласно законам логики!

Следом за ними обычно таскался добровольным клоуном

Семка Попов и, кривляясь и гримасничая, передразнивал каждое движение Санёки.

«Мыслящие человеки! Мыслящие человеки!» – пищал он, отпрыгнув подальше во избежание таски.

Санёка и бровью не повел, как и подобало философу-перипатетику, но прозвище «мыслящие человеки» за друзьями осталось. В их компанию я был принят за начитанность; мы хоть и были одноклассниками, но я был моложе на год, и разница лет начинала уже сказываться: они были почти женихи, а я еще мальчишка.

Сашку Лычагина мы застали в сарайчике за домом, где на летнее время он устроил себе логово: соорудил из досок столик и ложе, земляной пол чисто вымел и посыпал песочком.

В углу лежит пудовая гиря для развития мускулатуры. Санёка хватает ее и, став в позу циркового силача, начинает упражняться.

Сашка неторопливо и основательно, как все, что он делал, собирается в поход. Выглянул за дверь и поглядел во все стороны – не идет ли кто? Поставил меня у входа сторожить, а сам стал копать песок и отрыл жестяную коробку с «нелегальщиной».

Это была пачка отпечатанных на гектографе прокламаций, появившихся в ту пору в изобилии и в нашем городе: «Хитрая механика», «Конек-скакунок», революционные песни: «Марсельеза», «Варшавянка», «Смело, товарищи, в ногу», «Похоронный марш» и другие.

Сашка вынул прокламации из жестянки, сложил их в специально им самим сшитый холщовый мешок и повесил на шею под рубашку.

– Поглядите-ка: не заметно, что спрятано?

– Охота тебе перепрятывать да трястись, – сказал Санёка. – Я

один раз прочитал и все вот здесь, в башке, запер. Хочешь, прочту любую назубок?

И он затараторил из «Конька-скакунка»:

Раз, два, три, четыре, пять —
Вышел месяц погулять,
Шесть, семь, восемь, девять, десять,
Царь велел его повесить.
Часты звезды набежали
Царю месяца не дали… —

и отмахал единым духом строчек с сотню.

– Экая память у черта, – восхитился Сашка. Он припер дверь сарая жердью, и мы вышли со двора.

Был послеобеденный час ведреного августовского дня. Мы шагали по улицам нашего города, мимо примелькавшихся вывесок, мимо домов, историю обитателей которых мы знали наизусть. «Часовых дел мастер В. В. Супонин», «Женское училище св. Иосифа», «Мелочная лавка Ивана Фомича Ускова», «Мещанская управа». Вот стоит с заколоченными окнами дом Полухиных. С тех пор как повесился его владелец старик Полухин, в доме поселилась нечистая сила, и в нем никто не хочет жить. Из окна дома следователя, вдовца Студитского, из-за гераний и фуксий выглянула чернобровая Василиса, его экономка. Студитского все осуждают: у него подрастают дочери-барышни, а он завел в собственном доме «содержанку». Вот дом, где живет сумасшедший Степа, повредившийся в уме оттого, что «зачитался Библии». В щели забора виден двор, на нем растянувшиеся в пыли куры, долбленая колода с водой для скотины, корыто с месивом. Сам Степа с большой бородой и нечесаными длинными волосами, похожий на пещерного человека, в грязной рубахе без пояса и босой, сидит на лавке под кустом усыпанной красными ягодами бузины и, устремив неподвижный взгляд на кур, беззвучно шевелит губами.

Вон проехал на щегольском шарабане помещик Медведев, осанистый и грузный мужчина с большими усами, в шелковой голубой косоворотке, в белой чесучовой поддевке и таком же картузе. Он сам правит, картинно округлив локти и пошевеливая малиновыми вожжами по бокам расчищенного до блеска рысака. Рядом с ним миниатюрная и нарядная мадам Измайлова, в соломенной шляпке под вуалеткой. Мы знаем, что он повез ее за город кататься, что у них давний роман, а муж это знает и почему-то не ревнует.

До монастыря часа два ходу – через березовый лес и поле.

На полдороге – большая бахча. Толстобрюхие арбузы, как борова, греются под солнцем. Сашка свистнул. Из шалаша вылез сторож Арефий и поглядел из-под руки в нашу сторону. Собачка его с лаем бросилась к нам, узнала знакомых и завиляла хвостом. Арефий, наш сверстник, круглое лето караулит бахчу своего старшего брата и томится от одиночества и безделья. Сашка приносил ему иногда книги для чтения. Арефий, одичавший, черный от загара, давно не стриженный, обрадовался нам страшно и принялся нас угощать. Он пошел по бахче и выбрал самый крупный, самый спелый арбуз, принес его и разрезал с треском на куски.

Арбуз был отменный: душистый, сахаристый, еще теплый от солнца.

Арефий мигнул Сашке: принес? Сашка кивнул:

– Давай.

Они полезли, как заговорщики, в шалаш для церемонии передачи Сашкиной «нелегальщины».

– Все ли разберешь-то, местами бледно напечатано, – сказал Сашка, вылезая.

– Ничего, раскумекаем.

– Ты спрячь поаккуратней.

– Учи ученого. Да вы, ребята, с ночевкой, что ли? – спохватывается Арефий.

– Мы – к монахам.

– А ну, пошлите-ка вы долгогривых к чертовой матери, право. Я бы бредешок достал, на озеро бы слетали, уху соорудили бы.

– Верный страж арбузов своего брата, достопочтенный Арефий, – говорит Санёка, – мы идем к монахам не за молитвами. Это научная экспедиция. Всякий мыслящий человек обязан лично убедиться, как в начале двадцатого века рядом с богоспасаемым нашим городом, совсем как в средние века, изгоняют бесов и плут Андрюшка околпачивает своими чудесами крестьянские массы и обирает глупых бабенок. Такие безобразные факты надо публиковать в газетах.

Из монастыря уже доносился жидкий звон к вечерней службе. Пора было двигаться дальше.

На Сазани-горе, у речной излучины, лет с пяток том назад выкопал богомольный мещанин Андрюшка пещеру и стал в ней «спасаться».

Нарядился в черный подрясник и скуфейку, отпустил до плеч мочальные патлы и жидкую бороденку и начал именоваться «отец Андрей».

Возле него пошли роиться окрестные бабенки, приходившие за утешением от разных бабьих горестей. Приезжали в экипажах

из города купчихи, умилялись на праведное житие пещерного жителя и жертвовали деньги на «лампадное маслице».

Отец Андрей прослыл за молитвенника и целителя, появились возле него какие-то черноризцы, бойко пошла торговля бутылочками с деревянным маслом, святой водицей, даже песочек из пещеры подвижника славился целебной силой.

Вскоре рядом с пещерой в лесу выросли пятистенные корпуса монашеских келий. На горе была срублена деревянная церковь и даже архиерейский флигель на случай приезда владыки Гермогена, возлюбившего новоявленный скит, прибежище благочестия и смиренномудрия среди общего смятения и крамолы.

Шел 1906 год, и по уезду гулял «красный петух» – палили помещичьи усадьбы.

Мы пришли в самое время: служба кончилась. Федька Рытов в длинном подряснике пронесся мимо нас с каким-то узлом. Волосы у него уже отросли и стояли рыжим ореолом вокруг румяной веснушчатой рожи. Он шепнул мимоходом:

– Сейчас начнем!

Монастырь строился на красивом месте – у реки на пригорке, по краю леса. В гору к церкви шла дощатая лесенка. Сейчас по ней спускался отец Андрей, окруженный поклонниками. Они вошли в дом, мы следом за ними.

В просторной келье – светлые сосновые стены, приятно пахнет смолой и сухими травами. В переднем углу – три ряда икон, украшенных бумажными цветами и вышитыми полотенцами, перед иконами зажжены лампадки. Рядом с иконами – лубочные картинки в черных рамках: «Страшный суд»,

«Святая гора Афонская», «Серафим Саровский кормит медведя», «Ступени человеческой жизни». В углу – столик, покрытый белой вязаной скатертью, на нем – сосуд для святой воды с кропилом, крест и Евангелие, восковые свечи.

В горницу набилось человек двадцать. Вон та молодайка, верно, и есть кликуша. Она стоит в стороне, низко опустив голову и надвинув платок на лицо, подавленная стыдом и страхом. Рядом с нею два мужика – один постарше, другой молодой. Кто они – отец и брат? Или свекор и муж? Люди бесцеремонно подходят к ним и заглядывают бабе под платок. Она клонится все ниже и ниже.

Вышел из-за перегородки Андрей с толстой книгой в руках и положил ее на раскладной аналой. Его беспокойные глазки обежали горницу и подозрительно остановились на нас троих. Мы были в форменных полотняных блузах и выделялись в толпе, целиком состоявшей из людей «простого звания». Федька что-то зашептал ему на ухо, Андрей успокоился и начал действовать.

– Подойдите поближе, – сказал он строго. – А вы, зде предстоящие, смиренно и усердно молитеся.

Он раскрыл книгу и начал читать по ней молитвы. Голос у него был резкий, тенорового тембра. Звучали слова знакомых псалмов:

– «Да воскреснет бог и расточатся врази его… Яко исчезают дым да исчезнут… Живый в помощи вышнего… На аспида и василиска наступиши и попреши льва и змия…»

Андрей взывал о помощи против беса к троице, богородице, ангелам, предтече и пророкам, апостолам и мученикам. Монах призывал на беса легионы небесных воинств: ангелов, архангелов, господства, начала, власти, силы, многоочитых херувимов и

шестикрылых серафимов.

– «Да изгнан будет и побежден враг, супостат и мучитель естества нашего… сопротивник всегордый диавол и в бегство да обратится…»

«Бурею бед люте колеблемую рабу твою, владыко, и пучиною скорбей ныне потопляемую к тихому пристанищу настави».

«Китова чрева избавивый древле пророка твоего, владыко, и твою рабу избави…»

Бесы, известные нам по книжкам, изображались всегда недалекими простаками, вроде тех глупых озерных бесенят, которых так ловко надул попов работник Балда, или того блудливого черта, на котором кузнец Вакула ездил верхом в столицу в ночь перед рождеством. Даже евангельские бесы трусливо и покорно отступают перед словом Христовым.

В возгласах отца Андрея дьявол представал грозной, трудно одолимои силой, которой дана безграничная власть мучить род человеческий.

Он брал беса на испуг:

– «Бойся, беги и устрашися превеликого, страшного, сильного и великолепного имени вседержителя…»

Он кропил бабу святой водой, возлагал ей на голову руки и шептал над ней, заставляя ее лобызать крест и Евангелие, но упорный бес сидел, как клещ, и не поддавался на уговоры.

За окнами погасла заря. В келье стало темно. Освещен был только передний угол, где мерцали лампады перед образами, да возле Андрея у аналоя стоял подсвечник с зажженными свечами. Когда монах взмахивал кропилом или воздевал руки, по стенам метались летучие тени.

Отец Андрей начал читать молитву, в которой перечислялись все уголки естества, где лукавый мог притаиться:

– «Или во главе, или в темени, или в сердце, или в селезенке, или в чреве, или в жилах, или в крови, или во власех, или в ногтех…»

Он повязал одержимой какой-то нагрудник, перехлестнул шею пояском с вытканной на нем молитвой и дал ей отхлебнуть из лампадного стаканчика освященного маслица. Слышно было, как дробно застучали ее зубы по стеклу – она дрожала мелкой дрожью.

– Держите ее крепче, – скомандовал Андрей и «повелительно и дерзновенно» приступил к чтению самого сильного заклинания на изгнание беса.

– «Заклинаю тя, злоначальниче хульный, начальниче отверженный, самодетельниче лукавый!

Заклинаю тя, отверженного от вышния светлости и во тьму глубины низведенного за гордость!

Заклинаю тя и всю спадшую ти силу в след твоея воли! Заклинаю тя, душе нечистый – изыди, отыди от создания сего!»

Андрей читает громко и отчетливо, иногда переходит в крик, в паузах кропит бабу святою водой.

– «Убойся, бежи, отыди весь, о бес нечистый, злой, сильный, преисподние глубина и лживый блазном, льстивый, необразный и

многообразный…»

Все кругом с жадным любопытством смотрели на единоборство монаха с бесом в трепетном ожидании чего-то жуткого, что должно сейчас случиться.

Монах вознес крест и кропило над головой бабы, которая затряслась как в лихорадке. Тени заметались по стенам и потолку.

– «…Отлучися и изженися, убойся, бежи от мене и не возвратися ни един, ни с иными злыми духами нечистыми, но отыди на непроходную землю и на безводную и не деланную, на ней же человек не живет, бог же един призирает».

Больная рухнула на пол и стала биться в истерике и рвотных спазмах. Ее так выламывало, что мужики и двое монастырских служек едва могли ее сдерживать за руки и за ноги. Смотреть на конвульсии было жутко. Из ее горла вырывались дикие, лающие звуки. Ее вырвало.

– Пошел, пошел! – завопил отец Андрей. – Выскочил! Отойдите от двери-то, не мешайте ему выйти!

Толпа в ужасе шарахнулась – выход бесу был свободен, открытая дверь зияла чернотой ночи. Кто ее открыл?

Больная постепенно затихла; ее подняли и поставили на ноги. Она дико озиралась и всхлипывала, стуча зубами.

Андрей вытирал полотенцем со лба и щек ручьями струившийся пот. Он шатался от усталости, но смотрел победителем.

– Ну и упорен бес. Ничего, опросталась во славу божию. Теперь ей будет легче. Видали, как *он* метнулся?

Мы вышли из кельи в смятении. На дворе была уже ночь. Мы сомлели от духоты и страшных заклинаний. А главное – чувствовали себя глубоко униженными. Ведь и мы вместе со всей этой серой толпой так же глупо и безотчетно, как и все, метнулись от двери, чтобы «дать дорогу» бесу. Как и все, мы были потрясены мерзким ощущением панического страха перед «нечистою силой». Куда девалось наше гордое свободомыслие? Вот тебе и «мыслящие человеки»! И мы поторопились уйти домой, даже с Федькой не простились.

Мы шагали, спотыкаясь, по лесной тропинке. В лесу было темно, хоть глаз выколи. В ушах еще звучат страшные Андреевы заклинания. Внезапные лесные шорохи заставляют нас вздрагивать. Перед глазами что-то мелькает, как наваждение. Слабый, зеленоватый, какой-то зловеще-мертвенный свет то появляется, то исчезает между кустами. Что за чертовщина? Мы замедляем шаги, сбиваемся теснее и затаив дыхание двигаемся к

таинственному сиянию. Выходим на поляну и видим непонятное – без шума и треска, без огня и дыма горит бледный костер, излучая немигающий, холодный, фосфорический свет. Подходим ближе – гнилой пень! Фу ты, дьявол, только и всего!

Санёка первым попытался встряхнуться:

– Фокусы, белиберда! Массовый гипноз! Я читал в журнале про индейских факиров, они почище этих чудеса вытворяют.

– «Есть многое на свете, друг Горацио…» Ведь бабенке-то стало лучше?

– Вот-вот! Теперь пойдет звон по всей деревне. Отец Андрей бесов изгоняет! Отец Андрей Дуньку вылечил!

Арефий сидел у костра с собакой, поджидая нас.

– Что-то вы долго. Ну как, ловко Андрей чертей пугает? А я кашу сварил, пшенную, с салом. После чертей в самый раз кашки-то.

У костра к нам возвращается хорошее настроение. Мы проголодались и рады и каше, и арбузу, который следует за кашей. Санёка совсем развеселился и ораторствует:

– Жалко, Арефий, что ты с нами не ходил, не видал, какие Андрюшка фортели выкидывает. Он этой дуре бабе дал рвотного выпить, ее и начало наизнанку выворачивать. Она блюет, а он вопит: «Бес пошел, бес пошел!»

Зато в чертологии мы теперь профессора. Всё знаем: есть черти дневные и ночные, земные и водные, лесные и тростниковые, озерные и колодезные. Тебя здесь озерные черти не одолевают? Озеро-то близко.

Арефий зевает:

– Ну хватит про чертей, спать пора.

Костер погас, стало темно. Над головой засияло созвездиями темное августовское небо.

– Какая это звезда? – спросил Арефий.

– Вега, в созвездии Лиры.

Сашка стал тихонько декламировать:

В небесах торжественно и чудно,
Спит земля в сиянье голубом.
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего, жалею ли о чем?

– Поэзия! – сказал Санёка насмешливо, напирая на «о» и на «э»: пОЭзия.

– Оставь, не мешай человеку. Жарь, Сашка, дальше!

Уж не жду от жизни ничего я,

И не жаль мне прошлого ничуть, —

продолжал Сашка и дочитал стихотворение до конца.

Мы постояли еще, помолчали и полезли в шалаш укладываться на ночлег,

Судья и Венера

Дом был одноэтажный, деревянный, серый, старое «дворянское гнездо»; окна высокие с полукруглым верхом, сирень – ровесница дому – разрослась в палисаднике густо и зелено. Я открывал калитку, проходил двором мимо доброй и нестрашной собаки, сеттера сучки Альмы, и входил в дом судьи.

В комнатах благоухало чем-то сладостным, волнующим, женским.

– Нард и шафран, аир и корица, мирра и алой со всякими лучшими ароматами… – шептал я, припоминая слова «Песни песней».

Царица ароматов – Пенорожденная – вся в чем-то кружевном, легком и прозрачном, сидела за роялем в солнечной гостиной и заливалась хрустальными руладами. Золотые волосы ее были зачесаны кверху и на шее вились мелкими колечками – «признак крови и силы», как заметил Тургенев.

Ее рулады без слов казались мне тогда одной из многих необъяснимых барских причуд, но мой оракул – страховой агент Федор Антонович говорил мне: «Нет, брат, у Маргариты Юрьевны действительно редкий голос, она поет, как настоящая оперная певица!»

Над роялем висел большой портрет судьи в широкой золотой раме. Портрет был схож: и борода судьи, и большой кадык над стоячим крахмальным воротничком, и длинный ноготь на мизинце правой руки, в которой он держал папиросу в янтарном мундштуке, и огонек папиросы, и синий дымок – все было на месте, но все неясно, как в тумане, – портрет был незакончен. Художница – сестра судьи – уехала в Париж доучиваться живописи.

Я проходил на цыпочках мимо хозяйки и кланялся ей в спину. Дальше идти надо было через ее комнату, обставленную нарядно и прихотливо, – ширмы из черного шелка с вышитыми на них птицами и хризантемами, мягкие ковры на полу, японские куклы на диване, розовые морские раковины, шелковые японские веера, строй хрустальных флаконов перед зеркалом, номера английского журнала «Studio» на низком «мавританском» столике, на стенах «панно» собственной работы: Маргарита Юрьевна рисовала акварелью и выжигала по дереву.

Здесь был полумрак и благоухало особенно сладко и душно, и я мысленно называл эту комнату «гротом Венеры»: я знал стихи Гейне о рыцаре Тангейзере, а судья к тому же был хромой, как и полагалось мужу Венеры – Вулкану. Дверь отсюда вела в детскую,

где ожидал меня Костенька, единственный, как в небе солнышко, сыночек в семействе, милый, нежный, чистенький, с фарфоровым румянцем и розовыми промытыми ушками мальчик. Милый Костенька был лентяй и нахватал на экзаменах двоек, и вот теперь летом я готовил его к переэкзаменовкам. Впрочем, была у него и благородная страсть: он любил музыку и увлекался игрою на скрипке.

Над моими рисунками он всегда ахал и упросил меня, чтобы я показал их маме. Маргарита Юрьевна перелистала мои листочки бегло и рассеянно и сказала сыну с ласковой укоризной:

– А ты, Котик мой, совсем, совсем не умеешь рисовать!

– Я буду скрипачом, как Ян Кубелик, – сказал Костя гордо.

Он завел граммофон и поставил пластинку с «Серенадой» Дрдла. Бархатные звуки скрипки Кубелика задрожали в моем сердце, а Костенька, став в позу скрипача, изображал жестами, как играет Кубелик.

Папка с рисунками осталась пока у Костеньки: ему хотелось показать их отцу, но тому все было некогда.

Наконец судья выбрал время, и показ состоялся. Он сидел за большим письменным столом; на стенах кабинета повсюду висели охотничьи ружья, кинжалы и оленьи рога: хромой хозяин любил охоту.

Судья раскрыл папку, заглянул в нее, встал, длинный, голенастый, и, прихрамывая, пошел к двери. Оттуда неслись рулады. Судья открыл дверь и сказал ласковым и каким-то даже заискивающим голосом:

– Рита, ты видела, как рисует мальчик твоей модистки?

Рулады замолкли.

– Что? Что?

– Я говорю: ты видела, как рисует мальчик твоей модистки?

– Да, да, хорошо.

«Долдонь хоть сто раз: *мальчик! мальчик!* а сам-то ты хромой, некрасивый Вулкан, с противным, стянутым в складки шрамом за ухом, и твоя златоволосая Венера тебя, конечно, обманывает с каким-нибудь Марсом».

Судья вернулся к столу. Рулады за дверью раздались снова.

Вулкан рассматривал мои рисунки долго и придирчиво. Все выискивал ошибки: «Ухо нарисовано неправильно», «нос кривой», «в пропорциях наврал», «перспектива не сходится». Под конец он спросил:

– А можешь нарисовать портрет в обратную сторону?

Я не умел, да и не пробовал никогда, как-то не приходило в голову.

– То-то, молодой человек!

Однако в знак благоволения он позволил мне остаться вместе с Костенькой смотреть, как он будет разбирать свою нумизматическую коллекцию.

Монеты были сложены в ящиках на черном бархате в отличном порядке. Он вынимал их и протирал замшевой тряпочкой.

Было это не очень интересно, потому что судья показывал их издали, ревниво не выпуская из рук. Интересней было бы порыться в книжном шкафу, где стояло множество хорошо переплетенных книг и на одном большом томе на корешке значилось: «Сокровища искусства».

Я задрожал от лютого желания видеть эти неведомые мне сокровища.

– Можно посмотреть?

Вулкану, кажется, не очень хотелось затеваться с новым показом.

– Папа, мы осторожно, – поддержал меня Костенька.

– Хорошо, только ступайте и вымойте руки. Это очень дорогие гелиогравюры,[8] – сказал он, значительно подчеркивая слово «ге-ли-о-гра-вю-ры».

Нет в мире занятия слаще, чем смотреть картинки! У судьи была целая полка изданий по истории искусств. Открытки, педантично разложенные по «школам», хранились в специально заказанных переплетчику коробках. За лето я пересмотрел их все.

Я ходил, одурманенный обилием впечатлений. Вереницы образов пылали в моем мозгу: богини и мадонны, рыцари и нимфы, пустынники и гуляки, черти и ангелы, папы и кондотьеры, менялы и нищие…

На богато изукрашенных конях едут нарядные кавалькады волхвов на поклонение младенцу Христу. Застыл в изумлении святой Евстафий перед чудесным – с распятием между рогов – оленем. Как замороженные позируют некрасивые супруги Арнольфини со смешною болонкой у их ног. Горделиво покоится в ослепительной своей наготе, опустив глаза, прекрасная богиня. В терновом венце, покрытый язвами и кровоподтеками, корчится в агонии распятый Христос. Черноокая святая Агнесса закрывает длинными волосами свою наготу. Колючие, как ежи, черти искушают бородатого Антония. Кастор и Поллукс похищают толстомясых Дочерей Левкиппа. Торжествующая Юдифь несет за волосы тяжелую голову Олоферна. Черный орел уносит в небо нагого Ганимеда. Голландские пьяницы лупят друг друга чем попало по глупым башкам. Юпитер в виде облака обнимает прекрасную Ио. Нагая пенорожденная Венера стоит на раковине, обдуваемая ветрами. А ликующий, нарядный Рембрандт, с бокалом в руке и с женой на коленях, из глубины веков смотрит своими веселыми глазами прямо в мое сердце.

О моя бедная, моя скудная, моя богатая, моя щедрая юность!

Какие праздники одиноких восторгов переживал я в те годы! Как горячи, как обжигающи были эти первые соприкосновения с искусством!

Не все подряд мне нравилось. По молодости и дикости я был тогда самоуверенней и в суждениях куда строже и категоричней, чем теперь. Но ведь и платил я тогда за все дороже: всем пылом нерасчетливой первой любви, всеми восторгами молодого сердца. Теперь я «добрей и равнодушней». Я привык к мысли, что в искусстве много условного, что надо принимать во внимание установленные эпохой «правила игры», словом, судить «исторически».

А тогда меня удивляло, например, и прямо-таки мучило то, что знаменитая картина Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» – не тайная и не вечеря. Ведь трапеза на ней происходит не тайно, а явно – при открытых окнах, а за окнами не вечер, а белый день. Евангельский рассказ об этом событии исполнен тишины и грусти, а на картине апостолы суетливо жестикулируют и галдят, как цыгане на ярмарке. Почему же эта картина считается великой? Мне больше нравилась картина Ге на ту же тему.

Уже позднее, прочитав роман Мережковского, я поддался гипнозу легенды о Леонардо и стал искать «тайну» в улыбке Джоконды и высокого смысла в пирамидальной композиции «Мадонны в скалах». Но все мои чувства были натяжкой; по совести, я не испытывал большой радости от созерцания картин Леонардо. Увиденные потом в Эрмитаже «Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа» не приблизили меня к пониманию тайны его очарования. Я старался, но не мог преодолеть холода наших отношений.

Вообще великая триада Ренессанса – Леонардо, Микеланджело, Рафаэль, должен в этом сокрушенно признаться, не взволновала моего сердца в те юные годы. Я готов был верить, что это титаны, но я не полюбил их так, как полюбил до дрожи сердца Брейгеля, Дюрера, Рембрандта.

Мне казались неоправданными те чрезмерные мускульные усилия, какие делают фигуры на картинах Микеланджело. Почему вот эта женщина, старик и ребенок, перекрученные в напряженных, неестественных позах, должны изображать «Святое семейство», евангельскую семью плотника, бедных еврейских беженцев, спасающихся от воинов Ирода в Египет? Почему Давид, почти мальчик у Донателло (каким ему и полагается быть по Библии), превращается у Микеланджело в юного атлета, щеголяющего своей мускулатурой? Ведь чудо победы над Голиафом от этого перестает быть чудом.

Рафаэлевы восковые мадонны казались мне неживыми, искусственными. О, я чувствовал, конечно, что в ликах матери и младенца в «Сикстинской мадонне» есть что-то бесконечно трогательное, но святая Варвара с опущенными веками на этой картине – все та же точеная на токарном станке гладкая итальянская схема, а два херувимчика, облокотившихся на раму (их воспроизводили даже на бонбоньерках), обнаруживают неблагородное стремление художника угодить на все вкусы. Да, да, я это чувствовал и тогда, твердо помню.

Но все эти чувства я таил, помалкивал и мучился сомнениями: выходит, что чего-то я не понимаю.

Картиной номер первый в «Сокровищах искусства» была для

меня тогда «Зима» Брейгеля. Я возвращался к ней сотни раз, и мне хотелось ее целовать, как верующие целуют иконы. Вот это чудо! Как пронзительно живы эти вырезанные на снегу силуэты охотников и собак, и голые деревья, и летящая сорока, и горы, и фигурки людей на льду озера! Эти люди – они были! Были! И каждый охотник имел свое имя, и каждая собака – кличку.

И совсем иное, но тоже яркое, хватающее за сердце впечатление от «Концерта» Джорджоне. Что-то волшебное, какое-то сновидение: и эта роскошная южная природа, и это волнующее, немыслимое наяву соседство обнаженных женщин и нарядно одетых кавалеров.

И еще – непонятная, загадочная, но увлекательная «Меланхолия» Дюрера. Темноликая крылатая женщина с циркулем в руке и пишущий грифелем мальчик на жернове, и спящий худой пес, и странное объединение предметов: песочные часы, колокол, весы, кристаллический многогранник, молоток, рубанок, пила, гвозди и это темное небо, просиявшее апокалипсической звездой, – все было прекрасно каким-то мрачным очарованием.

Это классическое искусство было совсем иное по духу, чем наше русское, которое я знал и по открыткам, и по картинкам в журналах, и по отличным альбомам товарищества Гранат «Главные течения русской живописи XIX в.». Наше искусство исполнено жалости и сострадания к людям: «Похороны крестьянина», «Неутешное горе», «Смерть царевича Иоанна», «Казнь стрельцов», «Христос и грешница». А старые мастера безжалостны, как боги Олимпа. Они и страдания изображают красиво: пронзенный стрелами Себастьян – для них прежде всего прекрасный обнаженный юноша, а терзаемая раскаянием Магдалина – красавица, очаровательно проливающая слезы.

Кажется, во всем искусстве прошлого только Рембрандту присуща жалость. Посмотрите, какой молодец блудный сын у Сальватора Розы: кудрявый, с толстыми мускулистыми икрами! А у Рембрандта как он жалок, бедняга, – эта каторжная бритая шелудивая голова, эти распухшие от трудных скитаний ноги! Рембрандт первый в мире сумел изобразить простое человеческое горе. Я его очень полюбил тогда. Незадолго перед этим было трехсотлетие со дня его рождения, и в журналах вышли юбилейные номера со снимками с его картин и офортов. Мне нравился и он сам, каким он изображал себя во многих обличьях, – то нарядным и веселым, то дряхлым и печальным; я узнал и полюбил его близких: и его милую застенчивую Саскию, и его мать, властную суровую старуху, и его сына – чахоточного

Титуса.

Постепенно я научился разбираться в школах. Я уже угадывал эпохи и художников по языку их форм: угловатые, жесткие, как ломаная жесть, складки средневековых немцев; запрокинутые в ракурсах головы и растушеванные формы болонцев; жирные крупы коней и богинь, обжорливое любование плотью и снедью у фламандцев; четкая подробная техника портретов Гольбейна; у Рембрандта – мерцающий сумрак, из которого глядят грустные глаза его старух и философов и ангелы благовествуют пастухам.

Я вступил во владение несметным богатством и чувствовал опьяняющую радость. А иногда меня охватывала непонятная тоска. Отчего бы это? Я эту тоску и впоследствии при посещении больших музеев чувствовал. Может быть, я от жадности вкусил слишком много меду сразу? А может быть, есть в этих образах прошлого некая тайная отрава? Колдовская сила искусства! Что мы о ней знаем? Добрая она или злая? – я беззащитен перед нею. Уже одни эти глаза, которые смотрят на вас со старинных портретов: они снятся потом всю жизнь!

Хорошо, если это светлые, счастливые глаза Лавинии, дочери Тициана, или прелестный лукавый взгляд жены Рубенса Елены Фоурмен. А как отвести злые чары пронзительных черных «маслин» папы Иннокентия на портрете Веласкеса или холодных змеиных глаз этого женоубийцы-короля, увековеченного Гольбейном?

Иногда к нам с Костенькой (впрочем, Костенька скучал и часто отлынивал) подходил Вулкан и благосклонно пояснял:

– Вот, когда все так в темноте, а освещено только лицо – это называется «рембрандтовское освещение»… («Ну, это я и без тебя давно знал»); у Пауля Поттера на каждой картине непременно есть белая лошадь… («Так и запишем»), эту картину Тенирса я видел в оригинале в Дрезденской королевской галерее…

Я пробормотал:

– Это – Метсю.

Вулкан заглянул на обратную сторону открытки и увидел, что я прав.

Тогда он взял пачку открыток и стал мне показывать их издали:

– Что это?

– Тинторетто – «Чудо святого Марка», Веронезе – «Брак в Кане», Гвидо Рени – «Аврора»…

Вулкан удивился, а чему было дивиться? Просто у меня была хорошая память, и я, бывало, прочитав книгу, запоминал все подписи под рисунками. Друг мой Федя Щегольков «гонял» меня по всему «Таинственному острову» или «Человеку, который

смеется» – показывал рисунки, закрывая подпись бумажкой.

Я называл: «Пенкроф запряг онагра»; «Если мы ночью в открытом море услышим звон колокола – корабль погиб»; «Герцогине Медина Сели орангутанг надевал чулки»; «И, склонив голову, – скромность обезоруживает – опустился на стул» (это когда Урс является на допрос к Миносу, Эаку и Радаманту).

Судья встал, пошел, прихрамывая, к двери и позвал жену. Пенорожденная вошла, улыбаясь, и села на диван, наполнив своим сиянием комнату.

Экзамен начался снова. Судья показывал, а я отвечал:

– Веласкес – «Сдача Бреды»; Рибера – «Диоген»; Мурильо – «Мадонна».

Костенька был в восторге и при каждом моем ответе хлопал в ладоши.

Пенорожденная сказала:

– А вот ты, Котик мой, даже таблицу умножения до сих пор знаешь нетвердо. Ужасно рассеянный Котишка…

Костенька беззаботно улыбался. Он был похож на мать – прелестный, как Амур, белокурый, с вьющимися волосами, с нежным румянцем. Она ласково взъерошила ему кудри – «пора постричься, скоро в гимназию» – и ушла. Через минуту раздались ее соловьиные трели. Теперь я знал, что эти упражнения для голоса называются сольфеджио.

В августе Костенька уехал в гимназию в Саратов, и я больше не ходил в дом судьи.

Пьер Ширинкин

Мы сидели в классе на уроке немецкого языка, когда сторож Дементьич просунул голову в дверь и шепотом позвал меня к директору. Я попросил разрешения у немца, вышел в коридор – и к Дементьичу:

– Не знаешь, зачем?

Он плутовато подмигнул мне и поддразнил:

– Хорошего не жди.

В коридоре стояла тишина, за закрытыми дверями шли уроки. Я шагал в учительскую и ломал голову, зачем я понадобился нашему «статскому советнику и кавалеру»? Эти титулы директор неизменно собственной рукой выводил на бумаге перед своей подписью, и нам это казалось почему-то смешным. Особенно слово «кавалер». Значило оно только то, что директор награжден за свою службу орденом, но в сопоставлении с его брюшком и лысиной «кавалер» звучало комически. Впрочем, усмехались мы лишь втихомолку. Директор был для нас грозным начальством, и вот сейчас я, хоть и не знал за собой никаких провинностей, идя к нему, трусил.

Директор сидел в учительской комнате один. Он сунул мне для рукопожатия вялую, пухлую, неживую ладонь и кивнул на стул. Я присел.

– Ровно в два часа сегодня вам нужно быть у мадам Ширинкиной. Адрес знаешь? С последнего урока – что у вас там, рисование? – ты можешь уйти. Ей нужен учитель для младшего сына, я рекомендовал вас. По главным предметам его ведут наши педагоги, а ты будешь преподавать историю и географию.

Говоря со мной, он мотался, как маятник, между «ты» и «вы», и я отлично понимал движущую силу этих колебаний. Удостаивая меня обращения на «вы», директор показывал, что готов почтить во мне успевающего ученика и близкого «абитуриента» и вот рекомендует даже в наставники к сыну предводителя дворянства. Затем спохватывался и пугался – а не перехватывает ли он в изъявлениях почтения, не передает ли мне лишнего? И перескакивал на привычное «ты».

Он пояснил, что младшего сына предводителя – Пьера – надо было подготовить к экзамену на «вольноопределяющегося». Экзамен этот давал право на льготный срок военной службы: вместо трех лет – полтора года. Кроме этого, «вольноопределяющийся» при выходе в запас получал офицерский чин.

– А сколько следует назначить за уроки, Александр Иванович?

Директор сказал, сколько.

Ширинкины были в нашем городе люди знатные: отец моего будущего ученика состоял по выборам уездным предводителем дворянства и считался крупным землевладельцем. Дом их на главной улице города был каждому известен. Я даже бывал в нем и раньше. Отец не раз поручал мне относить к Ширинкиным аккуратно завернутые в черный коленкор отглаженные брюки, визитки или пиджаки – «да только не изомни смотри». Но тогда я заходил со двора через черный ход, а сейчас звонил с парадного крыльца.

Открыла дверь горничная в белом фартуке и белой наколке и провела меня по комнатам к барыне. В покоях мадам Ширинкиной стоял крепкий аромат «Сердца Жанетты», излюбленных духов у дам нашего бомонда. На голубых обоях по стенам висело множество фотографий в рамочках – все военные и дамы – и большая репродукция в широкой плюшевой раме с «Демона и Тамары» Зичи. Вместо иконы – в переднем углу мадонна Каульбаха с заплаканными глазами. На столиках и

этажерках – флакончики, морские раковины, шкатулочки из перламутра и цветной соломки, всякие безделушки, среди которых неизбежные фарфоровые слоники от большого до крошечного: известно было, что они приносят счастье.

Барыня в летах, но нарядная и авантажная, смуглая, в родинках, с коричневыми веками и черными цыганскими глазами, с большим бюстом, подтянутым корсетом к самому носу, сидела на диване синего плюша с ногами, каблуками вперед, среди вороха пестрых вышитых подушечек. Меня пригласили сесть, и я, стараясь не обнаружить свою робость, опустился на голубой пуф.

Барыня сказала, что все ее дети очень способные и талантливые: Люлю кончила институт с шифром, Вольдемар в полку на отличном счету и даже получил приз за верховую езду. Только бедняжке Пьеру не повезло. Он по слабости здоровья запустил уроки, и его пришлось взять из кадетского корпуса домой.

– Мы не жалеем для него средств. Его скоро призовут на военную службу – не идти же ему в полк простым солдатом. К нему ходят лучшие педагоги из реального училища. Математику ему преподает сам Александр Иванович. Он так хвалил ваши успехи, мсье Кузьмин. Вы еще ученик, но Пьер дал мне слово, что будет вас слушаться. Маргарита Юрьевна тоже рекомендовала вас с самой лучшей стороны. Помогите бедняжке Пьеру – он очень, очень способный, только ужасно рассеянный.

Появился бедняжка Пьер – юноша могучего роста и отличной упитанности. Мяса из него так и выпирали повсюду. Штаны чуть не лопались на его толстых ляжках, шея жирной складкой лежала на крахмальном воротничке. Тужурка была ему тесна, рукава коротки. Было очевидно до жалости, что он из своего костюма

сильно вырос.

Белый, румяный, с заметными усиками, с рассеянным телячьим взглядом, он был, пожалуй, даже недурен, только подбородок был у него тяжеловат да мясистый язычище не укладывался в своем вместилище, а покоился на нижней губе всегда полуоткрытого рта. Иногда Пьер, спохватываясь, захлопывал рот, но стоило ему зазеваться, как непокорный язык вылезал на волю и снова занимал свое место на губе.

Мы поднялись с Пьером в его комнату в мезонине дома. Пока я не сел, ученик мой стоял навытяжку, демонстрируя свой гвардейский рост и ироническую почтительность к новому учителю. Он был на добрый вершок выше меня ростом и смотрел своим блуждающим взором куда-то вдаль поверх моей головы.

Он явно злился, был не в духе и не скрывал, что презирает и педагога, и науки, и весь этот балаган. Ну что ж, дело понятное: сколько ни топырься, а все же обидно для самолюбия – детине призывного возраста и роста иметь в наставниках школьника, мальчишку! С грустным достоинством хрипловатым кадетским баском отвечал он на мои вопросы, покорно и уныло блуждал по карте в напрасных поисках рек и гор, островов и проливов: ничего, мол, не поделаешь, надо терпеть.

Он не знал, куда впадает Обь, где находится Денежкин Камень, как звали коня Александра Македонского, что сказали древляне Ольге из ямы, куда их бросили прямо в лодках, зачем сняла Софья Витовтовна пояс с Василия Косого, какую эстафету послал Суворов после взятия Варшавы и что ответила Екатерина.

Однако он не говорил просто: «Этого я не знаю», а отвечал на заданный вопрос первой подвернувшейся на язык бессмыслицей. Так, о коне Александра Македонского он сказал, что его звали «Крепыш». А древляне будто бы закричали Ольге: «Ура, с нами бог!» Я не удивлялся этой странной манере, потому что уже раньше знал, что по кадетским традициям полагалось лучше пороть ахинею, чем молчать. Ахинеи набралось столько, что мне стало жутковато: где же такого оболтуса натаскать к экзаменам за оставшиеся три месяца? Наше собеседование походило на диалог глухих или сумасшедших; на каждый вопрос я получал нелепый ответ, и порой мне начинало казаться, уж не валяет ли мой ученик просто-напросто дурака?

Да нет: вот про эпоху Петра Великого он отвечал почему-то весьма порядочно и даже неожиданно блеснул кое-какими сведениями сверх учебника.

– Кабы вы всю историю так знали! – сказал я.

Пьер самодовольно хмыкнул:

– Я знаю кое-что, чему в школе не учат. Ведь мой предок – стрелецкий старшина Федор Ширинкин – участвовал в заговоре Цыклера против царя Петра Великого, за что и был казнен в Москве на Красной площади. И вообще наш род очень древний и знаменитый в истории. Герб Ширинкиных: в голубом поле – лестница и три гранаты, намёт акантовый золотой, подложенный красным. Вы знаете, что такое намет?

– Нет, признаться, гербами я мало интересовался.

Пьер презрительно умолк, надувшись от спеси. Он был доволен, что «осадил» меня с моей школьной премудростью. Его язык, воспользовавшись рассеянностью хозяина, вылез и разлегся на губе.

«Нет, шалишь, не будет твоего верха надо мной», – подумал я и сказал:

– Запишите небольшой отрывок.

У меня за три года педагогической практики в памяти скопилась куча диктантов, которые я знал наизусть. В сущности, не мое дело было проверять его познания в правописании – на то у него был словесник, но я выбрал нарочно диктант географического содержания, чтобы он не заподозрил подвоха. Я начал диктовать отрывок из «Фрегата „Паллады“ о встрече со смерчем:

– «Зарядить пушку ядром!» – кричит вахтенный…»

Отрывок был невелик, но Пьер наделал в нем кучу орфографических ошибок. Я подчеркнул их красным карандашом и вернул листок с бесстрастным лицом неподкупной педагогической Фемиды. Демонстрация была убедительной: Давид победил Голиафа.

Постучавшись, вошел слуга с зажженной лампой и пригласил меня вниз:

– Барин просит вас к себе.

Кабинет Ширинкина-отца был похож больше на моленную. В углу в три ряда стояли иконы в богатых ризах. Перед некоторыми горели цветные лампадки, хотя день был будний. У стола сидел грузный мужчина лет пятидесяти пяти. Толстая короткая шея, бычий взгляд из-под тяжелых век. В коротко остриженных волосах пробивалась седина, квадратная борода была железного цвета.

Он встал, принял мою руку в широкую ладонь и поклонился чуть не в пояс. Заботливо усадил меня и, усевшись напротив, осведомился, как поживает мой папаша и много ли у него работы. Куда собираюсь я поступать после окончания реального училища? Не мешают ли моим успехам репетиторские занятия?

Какой добрый, какой любезный, какой отзывчивый слон, даже в это вникает! Вот какие бывают настоящие-то аристократы!

– Вы не курите?

– Нет, не курю.

– Это похвально, я в полку курил, а теперь вот тоже бросил. Ну, а как, на ваш взгляд, обстоят дела у Пети с науками? (Он назвал сына Петей, и это мне тоже понравилось.) Хватит ли времени подготовить его к экзаменам?

Я сказал, что думал. Ширинкин вздохнул:

– Да, да, я понимаю: трудновато, много запущено. Будем надеяться на божью помощь! Его святая воля! Все в руках всевышнего!

Он обернулся к своему иконостасу и осенил себя широким крестным знамением.

Разговор наш подходил к щекотливому пункту. Уроки я давал уже третий год, но всегда терялся, когда спрашивали о плате.

– А сколько желаете вы получить за ваши труды?

Я проглотил слюну и неуверенно назвал цифру, назначенную директором. Ширинкин поглядел мне ласково в глаза и потрепал по колену.

– Ну, я думаю, что мы с вами поладим, – сказал он… и предложил ровно половину.

Этого я никак не ожидал и промолчал. Молчание мое было принято Ширинкиным за согласие.

– Так с богом, в добрый час! Передайте мое почтение вашему батюшке!

Я вышел на улицу. Были синие сумерки. По Московской улице катались на рысаках, запряженных в легкие санки, молодые купчики. Между двумя яркими, единственными в городе керосино-калильными фонарями гуляли молодые люди и барышни. Падал легкий снежок.

Я был недоволен собой и ругал себя тряпкой. Я не умел показать твердости характера. Я должен был сказать жестко и непреклонно: «Нет, я не согласен» – и с достоинством уйти. Оробел, брат, перед барской наглостью! Сколько тебе, любезный, за труды? Сколько пожалуе-те-с! Экая бычья морда у этого Ширинкина: настоящий Минотавр! Ну, если он Минотавр, то ты-то, братец, в Тезеи не годишься. Да какой там Минотавр, просто Собаке-вич; как он ловко, по-маклацки меня обставил! Что ж, дураков надо учить, а эти люди таким вот образом округляют свои капиталы!

Дома ждал меня мой друг Сашка. Он сидел у катка и разговаривал с отцом. Я передал отцу поклон от богомольного Ширинкина.

– Обходительный господин, – отозвался отец. – Прижимист малость, но зато – хозяин! Имение у него под Салтыковкой – богатейшее!

Сашка с нетерпением ждал от меня подробного рассказа о визите.

– Пойдем, расскажу.

Мы уединились, и я ему выложил все подробности. Сашка возмутился.

– Дурак будешь, если уступишь, раз директор сам назначил цену.

– Теперь уже неловко отказываться.

– Чего неловкого? Пиши письмо, я отнесу.

Я принялся сочинять письмо. По письменной части я понаторел на бумагах у страхового агента.

«Милостивый государь Петр Федорович, я допустил оплошность, не предупредив вас, что размер гонорара за уроки был установлен самим Александром Ивановичем, и я не беру на себя смелость что-либо изменять в его предначертаниях. Благоволите переговорить с ним лично По этому вопросу, и на

любое ваше решение я заранее даю полное и безоговорочное согласие».

– «Гонорар»! «Благоволите»! «Предначертания»! Ну и дипломат! Ну и Талейран! Пускай он теперь с директором торгуется! Надписывай конверт, мигом доставлю.

Через день директор сказал:

– Петр Федорович просит вас зайти… Приступай к занятиям.

Я стал ходить на урок к Ширинкину ежедневно. Пьер поначалу ломался, был надут и амбициозен, глядел мутными глазами в угол мимо меня. Потом обошелся, обмяк. Ему надоело топыриться, а я излишне не изнурял его науками, отлично понимая, что при покровительстве директора, имея учителями всех своих будущих экзаменаторов, Пьер без боязни мог взирать на предстоящие экзамены.

На уроках мой великовозрастный ученик откровенно томился, скучал, позевывал в кулак, был рассеян, а к концу урока все чаще забывал убирать язык с губы, но едва мы кончали – стряхивал с себя сонную одурь, закуривал папироску и оживлялся. Иногда, в знак особого благоволения, доставал спрятанную в столе толстую тетрадку, куда он записывал все услышанные анекдоты, и вычитывал мне из нее новинки.

Тетрадку эту он завел недавно в подражание жениху своей сестры Люлю – барону Рамму, от которого он перенял также дурацкую манеру заканчивать речь небрежно роняемым в пространство вопросом: «А? Что?»

По поводу тетрадки с анекдотами я спросил:

– Зачем вы записываете такую чепуху?

Он поглядел на меня снисходительно:

– Еще как пригодится – в полку, например! Барон говорит, что благодаря такой вот тетрадке он повсюду – душа общества. Вот этот анекдот, например, разве не прелесть? Его можно рассказать даже дамам.

И он стал вычитывать из тетрадки анекдот, как в институт благородных девиц приехал титулованный попечитель и как институтки поднесли ему букет цветов при пении специально разученной на этот случай кантаты:

Мы – пук,
Мы – пук,
Мы – пук,
Мы – пук,
Мы – пук цветов собрали!

И принялся хохотать до икоты.

Однажды, спустившись после урока из мезонина, мы остановились у накрытого для обеда стола.

– Составьте мне компанию, оставайтесь обедать. Наши все уехали, одному мне будет скучно. А? Что?

Из любопытства я остался. Обед, который подавал нам старый молчаливый лакей, был, к моему удивлению, очень плох. Жидкий суп, битки и раки – все это невкусное, вчерашнее, плохо разогретое. Пьер поглощал все блюда с отменным аппетитом.

«Ах ты, пан Трык, штаны из лык: три дня не ел, а в зубах ковыряет. С чего же ты такой толстый?» На сладкое подали чай с мятными пряниками – базарным лакомством, которое можно было купить в любой деревенской мелочной лавочке.

Я вспомнил разговоры в городе о богатстве и скаредности богомольного Ширинкина и сообразил, почему скуден обед и почему мой юный жантильом[9] одет не по росту.

На пасху приехал в отпуск старший брат, корнет, во всем великолепии своего кавалерийского оперения. Пьер был не ниже ростом и даже, пожалуй, дюжее брата, но каким мизерабельным[10] должен был он казаться самому себе в своей куцей тужурке и коротеньких брючках. Райской музыкой звучали для него волнующие названия различных частей кавалерийской формы: ментик, доломан, чикчиры, ташка…

Он мысленно видел себя в форме «вольноопределяющегося», лихим кавалеристом: шинель до пят, шпоры с «малиновым звоном». Тоже, черт возьми, неплохо – «вольноперы» в полку с офицерами на дружеской ноге, столуются вместе в офицерском собрании, допущены к товарищеским выпивкам…

Наступила весна.

Как ни укатана была Пьеру дорожка к диплому, все же ему предстояло новое тяжелое испытание гордости. Экзамены приходилось держать вместе со школьниками – учениками реального училища, среди которых Пьер с его ростом и усами выглядел совершенным Митрофанушкой. Да черт с ними, с мальчишками, можно вытерпеть и насмешливые взгляды, и шуточки, и хихиканье – только бы получить диплом. Никто, впрочем, не сомневался, что экзамены пройдут гладко.

Но вмешался черт и перепутал всю игру.

В реальном училище оставалась вакантной должность инспектора. Незадолго до экзаменов на эту должность из округа прислали учителя математики Дьяченко.

С первых же шагов новый инспектор не поладил с директором, и между ними разгорелся долгий петушиный бой не на живот, а на смерть. В маленьком городе такие отношения не остаются тайной, реляции о стычках директора с инспектором

оживленно обсуждались, и все гадали: кто перетянет? Одолеет ли наш старый «статский советник и кавалер», или возьмет верх более молодой, но не менее опытный в интригах его хитрый соперник?

Пьер шел на экзамен по математике с мрачным предчувствием. Я его встретил в коридоре училища. Он сильно трусил. Белые крахмальные манжеты его сорочки были сплошь исписаны математическими формулами. Он поминутно засовывал их под рукава.

– Ну, ни пера ни пуха!

Он махнул рукой. Действительно – положение! Готовил его по математике директор, а экзаменовать будет Дьяченко. Уж он-то не упустит такого счастливого случая подложить своему сопернику свинью.

Мне потом рассказали, что произошло на экзамене.

Дьяченко вызвал к доске Пьера Ширинкина первым и вежливо истерзал его каверзными вопросами по всему курсу. Уже на третьей минуте стало ясно, что Пьер идет ко дну.

Пьер стоял у доски грузный и потный, в костюме не по росту, с тряпкой и мелом в руках. Он глядел тупым телячьим взглядом на своего мучителя, от волнения забыв спрятать язык, который глупо вылез на губу. Инспектор сидел, завинтив свои длинные ноги за ножки венского стула, и ласково улыбался. Молчание длилось.

– Ну-с, что же вы нам поведаете еще, господин Ширинкин?

В классе захихикали. Лицо и уши Пьера налились краской, он раздавил своими толстыми пальцами мел – только крошки посыпались, бросил тряпку на пол и, не сказав ни слова, медленно пошел к двери. Все смотрели на его могучую спину и толстый зад, обтянутый узкими брюками.

Дьяченко усмехнулся и влепил единицу. На этом экзамены и кончились.

Впрочем, Пьер все же получил свой диплом. Он благополучно сдал испытания в августе месяце, но не у нас, а где-то в другом городе. Верно, там нашлись более сговорчивые экзаменаторы.

– Конечно, Олечка Лихарева – милая барышня, – сказал Карлуша Пайпе, фармацевт из аптеки, – но будет ли она парой человеку деловому? Мне нужно, чтобы моя супруга могла и у кассы посидеть, и с покупателем умела бы заняться. А у Олечки еще ветер в голове.

Мы возвращались с Карлушей от Лихаревых, где встречали Новый год. Город спал, улицы были пусты. Стояли морозы, снег гулко скрипел под ногами, луна высоко сияла в радужном ореоле. Старые вязы Устиновского сквера в инее под луною были так празднично красивы, будто нарочно разузорены ради веселых святок.

Карлуша всегда говорит только о невестах. Он мечтает

открыть собственный аптекарский магазин и ищет себе в жены девицу с приданым и деловыми качествами.

– Да и даст ли за нею Лихарев приличное приданое? Живут они широко: своих лошадей держат, кучера, повара… Говорят, что папаша весь украшен долгами, как шелками. Буду ли я в том гарантию иметь, что получу желательную сумму? Как ты думаешь?

– Зачем мне думать, Карлуша? Я ведь жениться не собираюсь. Думай сам.

С чего это Карлуша вообразил, что Олечка за него пойдет? Она весь вечер строила глазки Сережке Самарину. У Лихаревых на встрече Нового года из молодежи были еще две Олечкины подруги по гимназии – Капа и Люба, да студенты – два брата Самарины, франтоватые и накрахмаленные, в отглаженных синих брюках с кантом и в форменных тужурках с наплечниками. Я был приглашен на вечер как Олечкин наставник: второй год я тяну ее по математике.

Было очень весело. Сперва ставили глупенький, но смешной водевильчик, в котором Олечка сумела показать свои артистические таланты и даже довольно бойко спела куплеты. Братья Самарины, снисходительно улыбаясь, двигались по сцене, как манекены, ролей своих они не знали совершенно, и я совсем охрип, подсказывая им из-за занавески каждое слово по десять раз: я был за суфлера.

Потом играли в веревочку, в жмурки, в фанты, в «свои соседи», в «почту амура». Были танцы под рояль. Братья Самарины, оба кудрявые, цыгански смуглые, были ловкие танцоры. Белобрысый Карлуша танцевал серьезно и старательно.

Когда пригласили к ужину, за стол сели пятнадцать человек. Кроме Лихарева, его жены и свояченицы, был доктор с женою и двумя ребятами-погодками: Вячкой и Всевкой, гимназистами-второклассниками. Эти двое все время неотрывно были заняты друг другом – все старались подсидеть один другого: дать втихомолку подзатыльник, утянуть из-под носа тарелку, вытащить стул из-под зада. В конце стола села миловидная таперша из клуба, которая играла на рояле танцы.

У участников спектакля остались на лицах еще следы неотмытого грима. Чуть подведенные глазки очень шли Олечке, и даже белобрысая пухлая Капа казалась интересной.

Лихарев, толстяк с бородою на обе стороны, как два лисьих хвоста, в черкеске из серого кавказского сукна, с георгиевской ленточкой, был весел, шумен, много пил, ел за троих, предлагал забавные тосты. Когда стрелка часов стала приближаться к двенадцати, он при общем внимании хлопнул пробкой в потолок и разлил по бокалам шампанское, настоящее, с французской этикеткой и серебряным горлышком. Все стали чокаться.

Свояченица Лихарева, милая толстушка Марья Адамовна, была приметлива и догадалась посадить меня за столом рядом с Любой. Мы чокнулись с Любой, и я пил из бокала, глядя ей в глаза «со значением». Повар в белом колпаке принес мороженое, которое он крутил во льду для нас целый вечер. Потом танцевали снова.

Ушли от Лихарева только мы с Карлушей. Капа и Люба остались ночевать. Доктора с семейством повез домой в санках на лихаревской паре кучер Осип. Студенты Самарины как гости из уезда были приглашены с ночевкой и тоже остались.

– Счастливцы эти Самарины, – сказал я, втайне ревнуя.

– Чем счастливые? – не догадался Карлуша.

– Ну как же ты не понимаешь? Они, может быть, и сейчас танцуют.

– А мне эти танцы уж надоели. У меня ботинки жмут.

Мы расстались с Карлушей у аптеки. Я свернул в свой переулок. В голове шумел легкий хмель, от пальцев празднично пахло апельсиновыми корками и духами. Дурень Карлушка! Чем это он прельстился в Олечке? Бойкая, правда, и нарочно смеется «серебристым смехом», показывая белые мелкие зубки. Но ломака-девчонка, строит из себя светскую даму, затягивается в

корсет, делает жесты, не отнимая локтей от талии, то щурит глазки, то загадочно смотрит вдаль широко раскрытыми «очами».

Нет, на месте Карлушки, я выбрал бы другую. Любочка – вот прелесть, вот золото девушка! Как она трогательно вспыхивала, когда Сережка Самарин за танцами шептал ей какие-то комплименты, уж верно дурацкие. Любочка, Люба, Любовь, die Liebe. «Doch nimmer vergeht die Liebe, die ich im Herzen hab…»[11]

Я открыл калитку и вошел во двор. Что за чудеса? В окнах мастерской свет, почему-то не спят. Когда я уходил к Лихаревым, в мастерской еще работали: отец дошивал шубу молодому Зайцеву, а Тимоша, приглашенный из-за спешки, ему помогал. Шуба была богатая: на хорьковом меху с бобровым воротником. Зайцев поедет в обновке делать новогодние визиты. Но неужели до сих пор все еще возятся с шубой?

В мастерской ярко горела висячая лампа-«молния» и было накурено махоркой, хоть топор вешай. На катке под лампой, поджав под себя ноги, сидели трое: Тимоша Цыбулов, Афоня и новый мастер Яков Матвеевич – и играли в лото на орехи.

Яков Матвеевич был беспаспортный и появился у нас совсем недавно. Как-то вечером привел его к нам, крадучись, портной Соломон Хлебников. Они пошушукались с отцом, и Хлебников ушел, а Яков Матвеевич остался в мастерской и тут же сел на каток за работу. О себе он не распространялся, помалкивал, да его и не расспрашивали. Иногда за работой он мурлыкал потихоньку: «Тяжкий млат, куй булат, твой удар родит в сердцах пожар».

На улицу он и носу не показывал, а дожив до весны, исчез, как в воду канул.

– С Новым годом, – сказал я, входя. – Ну и накурено у вас, братцы!

– И то ведь правда: Новый год, – отозвался Тимоша. – А мы вот после спешки в лото схватились и про время забыли. Садись закуривай, на вот кисет – махорка первый сорт, фабрики Заусайлова. Бери карту, если охота. Не желаешь? Ну тогда поехали дальше: двадцать три, семнадцать, сорок девять…

– Го-готово! – сказал Афоня, заикаясь от счастья.

– Врешь, поди, как давеча, пермяк, солены уши. Только зря народ булгачишь. Ишь настрополился выигрыш сгрести! Давай проверим. Ну вот – зачем накрыл шешнадцать! Не было шешнадцати! Погоди, поиграй еще маненько, Цыц, ни гугу, не бай ни слова!

У смирного, молчаливого Афони даже уши покраснели от волнения.

– Это, пермяк, тебе не в обиду, а в науку. Держись бодрей, гляди вострей! Знаешь, как нашего брата на военной службе жучили! Твой батька, живя в деревне, поди, тележного скрипу боялся, а ты, гляди-ка вот, сидишь, в барскую игру играешь под названием лото. Ну ладно, слушай мою команду: пятьдесят три, двенадцать.

– Квартир, – говорит Яков Матвеевич.

– Не квартир, а квартера, – поправляет его Цыбулов. Выиграл Яков Матвеевич. Он подвинул к себе выигрыш и стал считать орехи.

– Ого! Теперь у меня сорок семь орешки.

– Не орешки, а орешков, Яков Матвеич. По-русски надо: сорок семь орешков. О каких умственных вещах понятие имеешь, а этого никак не поймешь!

– Орешки, орешков… Один орешков, два орешков…

– Да все не так! Вот слушай да вникай: один орешек, два орешка, три орешка, четыре орешка, пять орешков… Гляди-ка ты! – четыре орешКА, а пять орешКОВ! Вон оно как: один орешЕК, два орешКА, а пять, стало быть, надо сказать: орешКОВ!

Тимоша, по-видимому, и сам удивлен причудами русского языка.

– Один орешек, два орешка, пьять орешков, – повторяет Яков Матвеевич. – А когда надо сказать: орешки?

– Опять двадцать пять, – сердится Тимоша. – Да вот они на катке рассыпаны: орешки!

– Опьять двадцать пьять, – говорит Яков Матвеевич, и все смеются.

– Ну как, хорошо погулял у Лихарева? – обращается ко мне Тимоша. – Чем угощали? Какие напитки-наедки на стол выставляли? Какие тарелки лизать давали?

«Вот язва Тимошка! Ладно, потрем к носу. Может, он и прав: незачем мне таскаться по таким вечерам, куда меня приглашают, конечно же, из милости. А как отказаться? Они такие добродушные, такие любезные, эти Лихаревы…»

– Что давали? Закуску всякую: пирожки с мясом, рыбу трех сортов, колбасу четырех сортов, сыр швейцарский, ветчину, салат…

– Что это за штука такая – салат? Я не едал ни разу.

– Ну, вроде винегрета. Морожено давали. Шампанского по бокалу налили.

– Сильно. Оно, говорят, два целковых бутылка. Да чем же оно так дивно? Крепкое, что ли?

– Да нет не крепкое, сладенькое, шипит, как лимонад.

– Ничего, и наша денежка не щербата: придет утро – мы для праздника тоже тяпнем. Верно, Яков Матвеевич?

– Тьяпнем, Тимофей Петрович.

– А гости какие были у Лихарева?

– Доктор был, Самарины-студенты, Карлушка из аптеки…

– Знаю: Карл Густавыч. В каком костюме он заявился?

– Табачного цвета, в полоску.

– Аккурат, я шил. Материал хороший, трико английское, два рубля аршин, на подкладку саржа песочного цвета.

– Он за лихаревскую дочку свататься хочет.

– Ишь чего захотел! Не отдаст за него Лихарев. Лихарев себя очень высоко понимает. Хоть у него и именья-то всего пять вершков пашни в селе Ненашем, Нетового уезда, Незнаемой губернии, зато дворянской анбиции хоть отбавляй. И до картежной игры ужасный охотник. Мне ихний кучер Осип рассказывал: каждую ночь в клубе в карты режется, намучился, говорит, я с ним на морозе до вторых петухов дожидаться. Нет, тут Карлу Густавычу не поддудит. Он немец, колбаса, размазня, тюря, а тут надо шик-блеск иметь, развязку, выправку! (Тимоша выпятил грудь и показал, какую выправку должен бы иметь Карлуша для успеха.) Не хуже того солдата, который к поповой дочке сватался.

И Тимоша рассказал, как хитрый солдат нанялся к попу в работники, как обвел вокруг пальца попа с попадьей, а потом

тихим манером и к поповне подъехал. Ловкий, шут: «Дозвольте представиться, могу ли вам пондравить-ся?» Она, конечно: «Что вы, что вы! Мы к этим глупостям не приучены». Словом: за мной, мальчик, не гонись! Он ей опять: «Что нам до шумного света, что нам друзья и враги, было бы сердце согрето жаром взаимной любви». А она на это ноль внимания…

Тогда он видит, что с этого боку ему неустойка, – расстарался, добыл ту самую нужную лягушачью косточку, которой девок привораживают.

Этой косточкой и присушил ее к себе: втюрилась она в солдата по уши.

– Ну и хитрый черт – солдат! Добился своего, – добавил Афоня и заржал от восторга.

– Вот тебе бы такую сласть, пермяк, солены уши! Ну хватит, ребята, растабарывать, зря хозяйский керосин жечь, – сказал Тимоша, зевая. – Спать пора.

И правда, был уже третий час на исходе. Я пошел через двор в пристройку, где жили мы с бабушкой. Бабушка спала на печи за занавеской. Она проснулась и окликнула меня:

– Колюшка, ты?

– Спи, бабушка, спи. С Новым годом.

В комнате светло: за окном белеет под луною снег. Лунный луч играет на морозных узорах окон и ложится на полу светлыми квадратами. Горит в углу лампадка перед образом – бабушкина забота. Тихо, празднично. Новый год. Завтра, да нет, это уже сегодня, с утра после обедни появятся у нас новогодние визитеры: кум-переплетчик, кум-столяр, кум – часовых дел мастер, франты-приказчики в крахмалках и при галстуках, брюки клеш, ботинки модные – с тупым носом Какие помоложе и пофорснее, прикатят в складчину на извозчике, будут у праздничного стола прикладываться к рюмочке и закусывать ветчинкой.

Приедет на извозчике и пьяный почтальон с раздувшейся от писем сумкой и привезет поздравительные письма от родственников и знакомых. И так на целый день закрутится праздничная колгота.

Тимоша Цыбулов уже с утра «тяпнет», станет припевать и приплясывать, притащится его Анюта с двумя ребятами, будет ныть и сердиться на его «пантомины», будет тянуть его домой: «Ну, будя, будя, разве хорошо, что ли?»

Яков Матвеевич тоже малость выпьет. Но для него эти праздники – одно беспокойство. Ему приходится отсиживаться за перегородкой у стряпухи. Что поделаешь, уж лучше потерпеть, да только не попадаться никому на глаза, а то пойдут лишние разговоры: «Чей да откуда?»

А вот Афоня – этот и водочкой не занимается, а не скучает. В новой, нестираной рубахе, которая торчит на нем пузырем, сядет он возле катка и будет быстро-быстро швырять себе в рот подсолнухи, насорит возле себя гору шелухи, а когда надоест ему это занятие, достанет гармошку и станет полдня подбирать один и тот же мотив, который ему никак не дается: «Любила я, страдала я, а он, подлец, забыл меня!»

Афоня и позу принимает заправского гармониста, и ухо склоняет к мехам гармони, как бы прислушиваясь к звукам – нет, не получается песня, да и только: ни складу ни ладу!

У бедного Афони совсем не было слуха – медведь на ухо наступил.

Последний класс

I

Вошел директор, а следом за ним маленький горбун В темно-синем форменном мундире. Он хромал, мучительно вихляясь на ходу. Одна нога у него была обута в уродливый ортопедический ботинок, похожий на большой утюг. Горбун держал под мышкой классный журнал и в каждой руке – по толстому тому.

– Гурий Степанович Жданович будет преподавать вам словесность, – сказал директор.

Горбун не поднял глаз. Он стоял, жалко скособочившись, глядя в пол и с усилием удерживая тяжелые книги. Директор вышел. Мы сели. Наступило тягостное молчание.

Карлик доковылял до стула, положил на него оба тома, вскарабкался на них и благодаря этому стал виден над столом. Лицо у него было картофельно-бледное, на щеках чахоточный румянец, узкие плечи подняты к ушам, руки худые, с очень длинными пальцами, шея тонкая, глаза – долу. По виду ему было лет около тридцати.

Он подпер голову рукой и, все не поднимая глаз, начал говорить, то и дело заливаясь румянцем, как девица на смотринах.

Говорил он с легким белорусским акцентом, но горячо и складно, а когда он поднял наконец глаза и посмотрел на нас, мы увидели, что его печальный, усталый, добрый взгляд умоляет нас о пощаде и выражает надежду на наше милосердие.

И мы не обманули его надежд.

Вопреки всем литературным традициям, изображающим уродов злыми и мстительными, наш горбун был кроток, нежен, деликатен на редкость. Обиженный природой, сам он никогда никого не обижал. Он был начитан, интересовался – вещь редкая! – «высокими материями» и вел с нами разговоры «о Шиллере, о дружбе, о любви».

Он относился к нам всерьез. На наших домашних сочинениях он писал красным карандашом длиннейшие рецензии, чего никогда не делал его предшественник. Скоро мы познакомились с ним ближе и узнали имена его литературных кумиров: больше всех писателей он любил Федора Михайловича Достоевского (он произносил – Достоевского) и украинского философа Григория Саввича Сковороду.

– Гурий Степанович, а из поэтов кто вам по душе?

– Я люблю философскую поэзию: Тютчева, Владимира Соловьева. У Фета люблю: «Измучен жизнью, коварством надежды…»

И он цитировал наизусть стихи Фета своим немного странным для наших ушей белорусским говором:

И этих грез в мировом дуновенье

Как дым несусь я и таю невольно,
И в этом прозренье, и в этом забвенье
Легко мне жить и дышать мне не больно.

Однажды кто-то бойкий спросил его:

– Гурий Степанович, а диссертацию вы пишете?

Застенчиво улыбаясь, он ответил изречением своего любимого нищего-философа: «Благодарение творцу, создавшему трудное ненужным, а ненужное трудным».

За стеклянной дверью появлялась любопытствующая физиономия классного надзирателя: что за беспорядок – ученики толпою окружили стол учителя, а он им рассказывает что-то явно приватное! Надо донести директору.

Но горбун не тревожился мнением начальства о приватных разговорах, его и до дому провожала всегда группа поклонников, с которыми он по дороге вел беседы.

Первые прозвища «карамора», «каракатица» сменились уважительным – «Гурий Праведный». Ждановича полюбили, берегли от обид и старались не подводить, понимая, насколько хрупко его положение среди педагогов нашего захолустья.

– Ах он малышка, – с умилением говорил о нем дюжий, как грузчик, Сашка Кит, развивавший в подражание Рахметову мускулатуру по системе Мюллера и Анохина.[12] – Несдобровать ему у нас, счавкают его наши динозавры!

II

Самой грозной наукой в седьмом классе была математика. Мы знакомились с началами анализа бесконечно малых и за год должны были галопом доскакать до интеграла.

Математику преподавал Дьяченко. Он теперь уже директор. «Статского советника и кавалера» перевели в другой город. Со стариком ушла в прошлое грубоватая патриархальность отношений. Он обращался на «ты», но порою проявлял человеческие чувства.

Дьяченко был сух, строг, недоступен. Ежовые рукавицы он прикрывал вежливым обхождением. На отметки скуп: никто в классе по математике не имеет пятерки, высший балл – четыре. На его уроках трепетали.

По грязным коврам коридора,
Лишь девять пробьет на часах,
Дьяченко проклятый несется,
Несется на всех парусах.

Сочинитель был связан формой пародии и погрешил против правды. Дьяченко никогда никуда на всех парусах не несся, а вышагивал по коридору не спеша, солидно, с достоинством.

Войдет в класс, хмуро кивнет на приветствие. Прежде чем сесть, смахнет платком пыль со стула. Нервно похмыкивая носом, зловеще молчит – значит, не в духе. Раскрывает журнал, ищет глазами по списку, кого вызвать к доске. В классе мертвая тишина: «Пронеси господи!»

Мой сосед по парте Ленька Новодворцев втянул голову в плечи и шепчет, как заклинание:

– Меня не надо вешать! Меня не надо вешать! – фразу, вычитанную из «Рассказа о семи повешенных» Леонида Андреева.

Дьяченко поднимает глаза от журнала и говорит:

– Новодворцев-цев!

Это у него тик такой: он повторяет иногда концы слов: «функция-ция», «дифференциал-циал».

– Будьте любезны, запишите…

Ленька ростом выше Дьяченки. У него внешность доброго молодца из сказки: пригожий, румяный, чернобровый. А вот трепещет перед этим мозгляком.

Он записывает мелом на доске условие задачи, старательно вычерчивает абсциссы и ординаты, круги и треугольники,

расставляет буквы. Затем становится в позу мыслителя, подпирает подбородок пальцами, глядит в потолок, обводит глазами стены, на которых развешаны всякие намозолившие глаза таблицы. Ленька останавливает взор на изображении губительных последствий употребления алкоголя. Смотрит на раздутую *печень пьяницы,* беззвучно шевеля губами. Может быть, он твердит свое: «Меня не надо вешать!» Украдкой он косится на знаки, которые на пальцах передают ему доброхоты с твердой земли, но разгадать их не в силах.

Дьяченко, кажется, забыл о его существовании, сосредоточенно что-то пишет – верно, кляузу сочиняет. Встрепенувшись, оборачивается:

– Итак?

Ленька говорит:

– Прежде всего надо опустить перпендикуляр из точки В.

– Довольно. Благодарю вас, – говорит Дьяченко со свирепой учтивостью. – Садитесь. Старосельский-ский!

Так рыщет он серым волком по всему списку, собирая за час обильную жатву единиц и двоек. Урок тянется мучительно долго. Время от времени через стеклянную дверь из коридора заглядывает бдительным оком дежурный надзиратель: Жмакин или Сыч.

III

Это наши штатные шпионы. Обязанности их по отношению к нам были полицейские: они «надзирали». Из коридора в часы занятий они поглядывали через стеклянные двери, не читает ли кто из-под парты, боже упаси, приватную книжку; они же по ночам устраивали облавы на учеников, появлявшихся на улице после десяти вечера, делали налеты на квартиры к «нахлебникам», рылись в книгах и вещах, вынюхивали «нелегальщину». Кроме этого, они по воскресеньям, построив нас парами, «гоняли» в собор к обедне.

Сыч имел вид профессионального детектива: бритое лицо цвета замазки, волосы щеткой, руки за спиной. Мы ему прилепили неудобосказуемое прозвище, а сокращенно звали Сычом. Жмакин – тощий, длинный, плоскогрудый, как лыжа, – носил для солидности золотые очки и бороду, которая росла клоками из жилистой кадыкастой шеи, облепленной сзади по чирьям квадратиками пластыря. Был он суетлив, жалок и все пытался втереться в доверие, но это ему не удавалось. Провинциальный вятский говор Жмакина вызывал глумление, его то и дело поднимали на смех. Однажды он глубокомысленно обосновывал правило поведения, запрещавшее класть во время урока локти на парту: «Курточку запачкаате: парта-то пыльнаа бываат временами…» Мы притворились, что не поняли: «Партато пыльнаа бываааат? На каком это языке?» Он покраснел и ушел разозленный. Злить его было глупо, он мог подвести под четверку за поведение, но не всегда же убережешься от соблазна подразнить злую скотину.

IV

Курение строго преследовалось, поэтому почти все курили. Некоторые из «перестарков» уже познакомились с употреблением бритвы, чувствовали себя женихами и без пяти минут студентами. В погребке на базарной площади хозяин тайком приносил в заднюю комнату разливное вино. Там устраивались товарищеские выпивки, но разговаривать приходилось чуть не шепотом, шуметь боялись – того и гляди, накроют Жмакин с Сычом. Они и туда заявлялись, но ни разу никого не обнаружили: по условленному сигналу преступники утекали задним ходом через двор и прилегавший ко двору овраг.

А иные, спасаясь от тоски школьных будней, придумали ездить в Ртищево «наблюдать жизнь». Собиралась компания человек пять-шесть и отправлялась с вечерним поездом. До Ртищева час езды. Это большой железнодорожный узел с просторным вокзалом, буфетом, рестораном, книжным киоском «Контрагентства А. С. Суворина». Скорый из Москвы прибывал в половине одиннадцатого ночи. Вот ради этого скорого мы туда и ездили.

Мы сходили в Ртищеве в веселом оживлении, чувствуя, что дышим здесь вольным воздухом дальних странствий. Нам нравилась эта хлопотливая суета большой станции, освещенные окна вокзала, белый свет еще диковинных в ту пору электрических фонарей, гудки паровозов, лязг маневрирующих составов.

К прибытию скорого зажигались все электрические люстры в зале I–II классов. Татары-лакеи расставляли на белой скатерти под большими пальмами столовые приборы и разливали по тарелкам дымящийся борщ. Громадный никелированный самовар кипел и выпускал клубы пара. Хозяйка газетного киоска раскладывала павлиньим хвостом яркие обложки еженедельников и все газеты от «Нового Времени» до «Брачной». В ожидании мы бродили по залам, подходили к буфетной стойке, разглядывали закуски и по-провинциальному ужасались выставленным на них ценам. Надо сознаться, что были мы робкими желторотыми юнцами, чувствовали себя неуверенно, не зная твердо, имеем ли мы право с билетами III класса находиться в залах I–II классов, все боялись, что подойдет какой-нибудь железнодорожный чин и скажет: «Здесь вам, молодые люди, находиться не полагается».

Швейцар у входа гремел колокольцем и объявлял о скором прибытии поезда. Мы спешили на платформу, где под электрическими фонарями вышагивали представительные

жандармы в длинных шинелях с аксельбантами и ждали пассажиров носильщики с бляхами на белых фартуках.

Подкатывал, сверкая огнями, московский поезд. Из желтых, синих и зеленых вагонов (известных теперь только по стихам Блока) выходили пассажиры. Из зеленых бежали с чайниками за кипятком. Публика желтых и синих шествовала в буфет ужинать.

Мы жадно смотрели: вот она, жизнь из романа! Модно одетые дамы, солидные господа, военные и штатские, в накинутых на плечи шубах, в форменных фуражках, в котелках и шапках дорогого меха.

Как самоуверенно садились эти люди за стол, как небрежно сминали белоснежные накрахмаленные салфетки! Вон проследовал деревянной походкой седой генерал, с широкими лампасами, на сухих ножках; лакей, угодливо согнувшись, подставляет ему стул. Важная старуха в сопровождении горничной капризно водит пальцем по меню и ничего не находит по своему вкусу. Румяный, белозубый барин с белокурой бородой на обе стороны со вкусом и аппетитом управляется с отбивной котлеткой – вылитый Стива Облонский! А этот блестящий кавалерийский офицер с малиновым звоном серебряных шпор и красивая дама в соболях, под черной вуалеткой, приводят на память железнодорожную встречу Вронского с Анной Карениной. Проходило полчаса. Швейцар гремел своим колокольцем и объявлял трубным голосом: «Поезд… Саратов… второй… звонок!» Гасли люстры. Зал пустел. Наступали часы ночной скуки.

Мы снова принимались, зевая и томясь, бродить по вокзалу. Заходили в зал III класса. Тут битком набито народу, пахнет дезинфекцией, пассажиры на узлах дремлют в неудобных позах, плачут младенцы. Выйдем на платформу, заглянем в окно, как стучит у аппарата дежурный телеграфист; на путях лязгают товарные составы, ходят железнодорожники с фонарями.

Глухой ночью являлся наш поезд Балашов – Харьков. Мы заходили в вагон. При тусклом свете фонарей виднелись фигуры спящих. «Какая станция?» – спросит иной, разбуженный непривычной тишиной, и задремлет снова. Душно. Мы выходили на площадку. За окном черная ночь, глухие степные полустанки – Байка, Колдобаш. Мы стояли в тамбуре, курили и под стук колес пели унылую кантату на слова, написанные на стене вагона:

Во время движения поезда
Находиться на площадке
Ваго-она, ваго-она
Строго воспрещается.

V

В Ртищеве мы покупали в эти наезды желтые книжечки «Универсальной библиотеки», издававшей западных авторов – Уайльда, Гамсуна, Джека Лондона, Честертона и литературные альманахи с новыми вещами Андреева, Бунина, Горького. Властителем дум в русской литературе был в те годы Леонид Андреев. «Рыдающее отчаяние» его произведений потрясало душу. Это было терпкое, горькое чтение, рождавшее чувство тоски, безысходности, неблагополучия. Он был в зените славы. В журнале «Искры» ему посвящены были целые страницы снимков. Красивый полнеющий брюнет с трагическими черными глазами, он сидел у письменного стола, на котором стояли причудливой формы семисвечники. Изображен был и «скандинавский замок» писателя в Финляндии, стены которого были увешаны картинами его собственной работы – все увеличенные копии с офортов Гойи. И снова он, в костюме моряка, в плаще и зюйдвестке, с тоской во взоре.

Поздней осенью газеты сообщили об «уходе» Толстого. Среди тревожных телеграмм из Астапова были иногда и такие, которые будили надежды на благополучный исход. Вся страна прислушивалась к предсмертному дыханию Великого Льва. Потом пришли журналы со снимками: Толстой на смертном одре, убитая горем, заплаканная Софья Андреевна, похоронная процессия среди зимнего пейзажа, удивительные похороны – без начальства, без попов, «без церковного пенья, без ладана» и, наконец, – бедный могильный холмик среди голых деревьев Старого Заказа.

По весне девятнадцатого февраля предстояло отметить официальными торжествами пятидесятилетний юбилей «высочайшего» освобождения крестьян. Двумя неделями раньше юбилея в «Русских ведомостях» был напечатан очерк Короленко «В успокоенной деревне». А деревня эта была совсем рядом с нами.

В нашем уезде, в деревне Кромщине, Чубаровской волости, у тамошнего богатея случилась кража. Местный ворожей оговорил нескольких крестьян. В доме потерпевшего был устроен застенок, где подозреваемых в краже мужиков урядник и стражники всю ночь зверски пытали. Избивали нагайками, били железным прутом, топтали ногами, угрожали револьвером. Били, а потом, утомившись, выходили в соседнюю комнату отдохнуть и подкрепиться. Там было приготовлено хозяином угощение. Выпив и закусив, полицейские снова возвращались к своей страшной

работе. Вся деревня не спала, в ужасе прислушивалась к воплям истязуемых. Пол и стены в избе, где производилось дознание, были залиты кровью. «Барана зарежешь – столько крови не будет!» – свидетельствовали потом очевидцы.

Короленко гостил на хуторе у своих родственников Малышевых и описал все факты со слов живых свидетелей. После «дознания» обвиняемые были доставлены к следователю, который отпустил их за отсутствием улик.

И все это случилось в нашем уезде, иные из учеников реального училища были из тех же мест и в Кромщине бывали: деревня как деревня. И мужики смирные.

– О, сволочи! Неужели им за это ничего не будет? А если всем нам заявить протест? – говорит экспансивный Сашка Кит.

– Черта с два! Сиди да помалкивай в тряпочку, а то разом вылетишь с волчьим билетом! – подает голос осторожный «зубрила» Коряга.

– Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет, – говорит Кит презрительно.

– Не горячись, Сашка. Он прав:

Мы плененные звери,
Голосим, как умеем,
Глухо заперты двери,
Мы открыть их не смеем.

– Кабы голосили, а то и голосить-то не умеем. Молчим, как дохлые.

VI

По весне Жданович сообщил нам, что из округа получен секретный циркуляр с предписанием провалить на выпускных экзаменах определенный процент семиклассников. Готовилось «избиение младенцев». Зачем? С какой целью? Предполагали, что провалившиеся нужны для «пушечного мяса» – в юнкерские училища, куда принимали без экзаменов со свидетельством за шесть классов. Многие из нас приуныли.

Пришло время экзаменов. Среди «обреченных» был мой друг Ленька Новодворцев. У Леньки на руке было вытатуировано: ЗИНА – имя его давней любви и невесты. Сад при доме Зины соседствовал с двором нашего училища. В дни экзаменов она сидела в саду и ждала реляций о Ленькиных успехах. В свободную минуту Ленька бежал в конец двора и сообщал ей через щелку забора сводку военных действий. Зина ужасалась и совала жениху мелко переписанный псалом: «Живый в помощи». Дознались, что он помогает на экзаменах. Ленька снисходительно клал записку в боковой кармашек на груди. Не надо пренебрегать даже мелким шансом на успех: «Париж стоит обедни».

А экзамены и вправду напоминали военные операции. Были пущены в ход средства подкупа и разведки. Два старших класса сделали складчину и собрали порядочную сумму в «секретный фонд». Предприятие было рискованное: надо было подкупить камердинера нашего холостяка-директора, чтобы получить при его помощи доступ к ящикам директорского письменного стола. Это удалось. Лазутчики добыли темы экзаменационных письменных задач по математике. Задачки были решены загодя, и письменные испытания прошли гладко.

С русским сочинением получилось еще проще. Жданович, не желая быть причастным к иродовым деяниям, сообщил нам заблаговременно три темы, из которых директор перед самым экзаменом должен был выбрать одну. Таким образом мы получили время на подготовку.

Церемония выбора темы происходила так. Перед началом экзамена Жданович вручил директору запечатанный конверт с темами. Директор вскрыл конверт, прочел листочек, покрутил носом и сделал вид, что колеблется в выборе. Затем заявил: «Знаете, у вас тут все литературные, а я предпочел бы отвлеченную тему. Я предложу свою: „Железо как металл“.

Это было его директорское право – заменить тему, но это значило открытое объявление войны Ждановичу. Верно, Сыч и Жмакин донесли по начальству о предосудительной дружбе

учеников со словесником.

Мы ахнули: вот так фунт! Ждановичс гневно-каменным лицом уселся на свой трон из толстых книг и ни разу, пока тянулся экзамен, не повернул головы в сторону директора. Тот чувствовал себя не очень ловко – нервничал, садился, вставал, ходил по классу, пытался задавать вопросы Ждановичу, но горбун отвечал сквозь зубы. Все же директор выдержал характер и не ушел, пока не была сдана последняя тетрадка.

Под покровом ночи к словеснику отправились разведчики. Наш великолепный горбун проявил благородное «безумство храбрых»: за ночь у него перебывал весь класс, и каждый своею собственной рукой внес по его указанию нужные исправления.

Директору с его иродовой инструкцией натянули нос еще раз, но все понимали, что дни Ждановича у нас в училище сочтены.

Письменные экзамены прошли благополучно, однако торжествовать победу было, увы, еще преждевременно. «Избиение младенцев» по-настоящему началось на устных экзаменах. Директор следил, чтобы предписанная округом процентная норма срезавшихся была неуклонно выполнена. После каждого экзамена наши ряды редели. Леньке Новодворцеву удалось дотянуть почти до финиша, но его прикончил на экзамене по космографии наш физик. По космографии! Ах, иродова душа, а мы еще числили его, этого очкастого человечка в футляре, в числе безвредных!

Ленька махнул рукой на Технологический институт, куда он метил первоначально, и решил ехать осенью в Москву, в военное училище.

Нужно ли удивляться, что не только те, кто срезался, но и те, кто сдал экзамены благополучно, сразу же по получении аттестата перестали кланяться при встрече со своими бывшими педагогами.

Ждановича перевели от нас в Елабугу. На его отъезд наш поэт Боря Т. сочинил оду, в которой были, между прочим, такие строфы:

Ты уезжаешь в дальний край,
Гонимый злой судьбою,
Но, уезжая, так и знай,
Что мы душой с тобою!
…
Как твой кумир – Сковорода,
Ты был идеалистом
И будешь памятен всегда
Сердобским реалистам.

Идеалист – означало тогда человека высоких стремлений, а реалистами называли также и учеников реальных училищ.

Начало пути

Может быть, вот здесь и надо рассказать о начале моего творческого пути. Оно, начало это, кажется, было довольно необычным.

Я рисовал с детства и мальчишкой пятнадцати лет с провинциальной наивной наглостью послал свои «виньетки» в журнал «Золотое Руно». Заведующий художественным отделом журнала Н. Тароватый ответил мне письмом, что рисунки мои для «Золотого Руна» не подходят, но они понравились С. Соколову, редактору издательства «Гриф», и он три из них взял для своих изданий. Вероятно, С. Соколов был очень добрым человеком, потому что в качестве гонорара за мои рисунки он мне прислал первый номер «Золотого Руна», посвященный творчеству Врубеля.

Журнал печатался с невиданной роскошью, с множеством цветных и черных иллюстраций и с параллельным текстом на французском языке. Из-за этого последнего обстоятельства он был очень большого, почти квадратного формата, и я помню, как я еле-еле притулился с ним у стола, на который отец в это время разложил материал для кройки.

Я этот номер весь наизусть помню. Я его сто раз – какое – сто, больше! – перелистал, перенюхал, пересмотрел, перечитал, передумал, перемечтал. Меловая бумага чудесно пахла свежими красками. На обложке была нарисована дева-рыба со светильником в руке и золотом красиво написано круглыми такими буквами название журнала по-русски и по-французски: «ЗОЛОТОЕ РУНО».

Кроме произведений Врубеля, там был напечатан в красках портрет поэта К. Бальмонта работы Серова, графика Евгения Лансере к стихам Бальмонта и Блока, графические украшения М. Добужинского, Л. Бакста и других художников. Были там еще стихи Валерия Брюсова и Андрея Белого, поэма Мережковского «Старинные октавы», статья Александра Блока «Краски и Слова» и много других статей и имен.

Но Врубель! Врубель!

Как ослепительное зрелище ночного пожара раскрывался передо мною новый диковинный и патетический мир врубелевских образов! Я ликовал, потрясался, пылал. Это было чудесно и незабываемо!

Были ли где-нибудь использованы С. Соколовым мои виньетки, я не знаю. Четырнадцать лет спустя, в гражданскую войну, когда наша пятнадцатая стрелковая Инзенская дивизия

вступала в Ростов, я увидел имя С. Соколова на страницах журнала «Орфей», который выходил в Ростове при белых. Я нашел в «Орфее» рисунки известных художников Лансере, Билибина, Сарьяна; С. Соколов был редактором-издателем журнала. Я надеялся застать его в Ростове. Мне посчастливилось встретиться с Мартиросом Сергеевичем Сарьяном, который был ростовским старожилом, и я узнал, что Билибин, Лансере и Соколов уехали дальше на юг. Так мне и не удалось встретиться с моим меценатом, приславшим мне первый мой гонорар.

В 1907 году я попал в плен к Обри Бердслею, гениальному английскому юноше, рано умершему от чахотки. Я увидел книгу его рисунков и был заворожен ими. Я узнал потом, что в плену у Бердслея перебывало множество художников всего мира. Я старался подражать моему кумиру, перенял его технику и даже тематику. В 1909 году я послал мои рисунки – вариации на бердслеевские темы – в московский журнал «Весы», где подвизался в те же годы известный график Н. Феофилак-тов, полоненный Бердслеем пожизненно. Позднее, в 30-е годы, я встречался с ним в издательстве «Academia» и он мне рассказал, как мои рисунки были приняты в «Весах». В журнале редактором-издателем подписывался С. Поляков, но фактическим редактором был Валерий Брюсов.

«Однажды Валерий Яковлевич показывает мне: „Вот взгляните: рисунки, присланные художником из провинции. По моему мнению, их следует напечатать“. Я с этим согласился».

Так в № 6 «Весов» за 1909 год появились два моих рисунка. Третий рисунок был Феофилактова (обычная норма «Весов» – 3–4 рисунка в номере).

Было лето, солнце, праздничный день. По случаю праздника в доме было пусто, все куда-то разошлись. Я держал в руках только что принесенный почтальоном номер «Весов», в котором неожиданно-ожиданно увидел напечатанными свои рисунки: «Н. Кузьмин. В парке», «Его же. Сокольничий». И рядом: «Н. Феофилактов. Шаг к зеркалу». Мне было 18 лет, я еще учился в реальном училище. Все во мне ликовало. Меня, самоучку, провинциала, напечатали в журнале очень строгого вкуса, где помещались рисунки знаменитых художников – Бакста, Борисова-Мусатова, Рериха, Сомова, Судейкина! В литературном отделе «моего» номера «Весов» было продолжение романа Андрея Белого «Серебряный голубь», рассказ Бориса Садовского, статья о Шарле Бодлере того же Белого, полемическая статья Валерия Брюсова, статья о Франсе, письмо из Рима. Я понимал, что принят в очень хорошее общество.

По окончании реального училища я поехал в Петербург

поступать в Академию Художеств на архитектурное отделение. Так было решено на семейном совете; все родственники и все мои доброхоты – все считали, что идти в художники – рискованное дело: какое-то несолидное, неверное это занятие, надежнее учиться на архитектора. В последнем классе реального училища ученики часто вели разговоры, куда лучше поступать, в какой институт: технологический, политехнический, горный, путейский, гражданских инженеров, электротехнический? Было известно из разговоров со знающими людьми, сколько какой инженер получает жалованья (так называлась тогда зарплата). Но какое жалованье получает художник – никто не знал. В нашем городе людей такой профессии не было. Я был старший в семье, «опора семьи», мне нужно было скорее «выходить в люди», рисковать я не имел права.

В академии первым был экзамен по рисованию. Нам роздали листы бумаги со штемпелем ИАХ (Императорская Академия Художеств) и заставили тянуть жребий на места. Мне досталось несчастливое место: в первом ряду, у самых ног Милосской Венеры, которую нам предстояло рисовать. С такого места фигуру невозможно было окинуть одним взглядом. Подняв глаза, я видел над собою большие ноздри богини, бугры щек и толстый край верхнего века. Все было в ракурсе, который называется плафонным. Я приступил к работе без надежды решить эту головоломную задачу. И никакие Бердслеи тебе тут не помогут. И все твои картинки в «Весах». Тут другие правила игры.

В перерывах все экзаменующиеся ходили смотреть рисунки соседей: у кого получается, у кого нет. Всезнайки, которые экзаменовались не впервые, говорили, что самое важное суметь «поставить» фигуру, а уж если не поставишь, то как ни оттушевывай – не поможет. У некоторых в руках были отвесы, которыми они проверяли, «стоит» фигура на рисунке или «валится». Еще говорили, что для экзаменов в академию хорошо «натаскивают» на курсах Гольдблатта и те, кто подготовился на этих курсах, знают все секреты и тонкости, которые тут требуются, и всегда выдерживают испытания.

С трепетом шел я в назначенный день в академию смотреть на вывешенные списки удостоенных приема. Моего имени в списках не было.

Эх, дурак, провинциал! Сунулся, не зная броду.

Но я скоро утешился. В Петербурге было столько интересного, что не хватало времени: Эрмитаж, Русский Музей, богатейшая библиотека Академии Художеств, в которую я тут же получил доступ и просиживал все вечера над книгами и журналами по искусству. Я жил в столице, пока хватило

накопленных уроками денег. В конце декабря я уехал на родину.

На другой год я был принят в Петербургский Политехнический институт на инженерно-строительное отделение по конкурсу аттестатов без экзамена. Теперь у меня был намечен такой план. Я учусь в политехническом, а «для души» буду посещать занятия в рисовальной Школе Общества Поощрения Художеств. Экзамена для поступления туда не требовалось. Я только показал свои рисунки, и меня сразу же приняли в головной класс (а через полгода перевели в фигурный). Я получил билет, купил бумаги и угля и сел среди прочих учеников рисовать сидевшего под рефлектором на возвышении старика натурщика с седыми кудрями и бородой Саваофа.

Графику в Школе Поощрения преподавал Иван Яковлевич Билибин, рисунки которого я хорошо знал и очень любил. Я стал посещать также и класс графики. Класс гравюры и офорта вел профессор Матэ, Все это было очень заманчиво, но совместить занятия в школе с занятиями в институте было трудно. Политехнический институт, как оказалось, находился за городом, ездить туда было и далеко и накладно. Чтобы всерьез заниматься с институте, надо было поселиться в Лесном.

Я и поселился, стал ходить в чертежную, вычерчивал на ватмане разрезы тавровых балок. Тоска и скука меня одолевали. Нет, надо делать окончательный выбор. Собственно, выбор уже давно был сделан, и незачем было приучать кота есть огурцы.

Я крепился до Нового года, потом не выдержал, уехал из Лесного, снял комнату на Екатерининском канале, совсем недалеко от набережной Мойки, где находилась Школа Поощрения. Политехнический институт я совсем перестал посещать.

В эти годы я впервые выполнил работы на заданную тему: обложки для журналов «Театр и искусство» и «Лукоморье». Я получил за каждую из них первую премию на ученическом конкурсе в Школе Поощрения. Вот это, собственно, и было посвящением в профессию, признанием моей квалификации графика.

Я пробыл в школе два года. В 1914 году на ученической выставке мне была присуждена за графику большая серебряная медаль. Не знаю, была ли награда символической или выдавали в самом деле натуральное серебро.

Я уехал домой на летние каникулы и больше в Школу не вернулся.

В августе разразилась война, и я был призван в армию.

Человек полетел

Уже оторвались от земли братья Райт (о полетах Можайского тогда никто не знал), уже Блерио перелетел Ла-Манш, стали мелькать в газетах и имена отечественных авиаторов – Ефимова, Уточкина, Нестерова.

В каком это было году – не скажу точно, но только и у нас в городе однажды появились афиши, что на ипподроме состоится полет авиатора такого-то на аэроплане системы «Фарман», билеты продаются. Тогда у нас никто еще не видел и не знал, как это бывает на практике, и не понимали, что раз аэроплан поднимется в воздух, так его и без билета будет всем видно. Все бросились покупать билеты и шли на ипподром.

Видим: стоит на беговом поле аэроплан – этакая хрупкая этажерочка, скрепленная проволочками (про летающую этажерку столько раз уже говорилось, но действительно – сравнение это сразу приходит в голову), а возле что-то хлопочут: авиатор – молодой, цыганского вида малый в кожаной тужурке, и антрепренер – владелец аэроплана, плотный дядя в спортивной куртке с карманами, в бриджах и крагах и в фуражечке фасона «семь листов одна заклепка». Тут же красивая брюнетка – жена авиатора – в шляпе с длинной вуалью, глаза у нее заплаканы: волнуется за мужа. Дует небольшой ветер, и полет из-за этого под сомнением. Хозяин уговаривает лететь. Ему что! Он собрал деньги и заинтересован больше всего в выручке. Жена сжимает авиатору пальцы и смотрит на него умоляющими глазами: хочет, чтобы он отказался от полета. А народ ждет.

Авиатор кусает губы и решает: лететь!

Стрекочет мотор, крутится пропеллер, авиатор сидит у всех на виду между каких-то совсем игрушечных палочек – распорок. Какое мужество – доверить свою жизнь такому ненадежному сооружению!

Смотрите-ка: аэроплан побежал, побежал по земле и вдруг отделился от дорожки, и, боже мой, вот он в воздухе – шутка ли? – на высоте второго этажа, а может, даже и выше! Все закричали от восторга и стали бросать вверх фуражки. Но вот его ветром как будто сносит, сносит, и вот он уже за кругом ипподрома. Мы бросаемся к выходу вон, в поле, и видим: аэроплан опускается и, ковыляя и подпрыгивая, кособоко катится по выгону.

Мы бежим к месту спуска, а авиатор шагает нам навстречу, слегка прихрамывая (видимо, что-то все-таки не совсем благополучно при посадке), но цел! Цел! Жена вцепилась ему в

руки и смотрит в лицо счастливыми, полными слез глазами.

Десятки людей поднимают его и с криком «Ура!» на руках тащат к ипподрому. Минута волнующая: да, черт возьми, снимайте, братцы, шапки – человек полетел, и все мы это чудо видели сегодня собственными глазами!

Лев Толстой

Чудно сказать – с малых лет я в обиде на Льва Николаевича Толстого, и еще чуднее, пожалуй, то, что и сейчас я эту детскую обиду помню и за блажь не считаю.

Учитель начальной школы Петр Михайлович преподавал нам грамоту по учебникам Льва Толстого. Ребята раскрыли свою первую книжку и были огорчены: ни единой картиночки! Счастливцы из других классов учились по «Родному Слову» Ушинского. Там были замечательные картинки: «Пруд и его обитатели», где можно было найти разных рыб, лягушек и улиток, и «Лес», в котором ходили медведи и волки, а на ветках деревьев прятались белка и дятел, кукушка и тетерев. А в наших книжках – какого-то «графа Льва Николаевича Толстого» – как голые стены в пустом доме: ничегошеньки. И назывались они не душевно-ласково – «Родное Слово» или «Добрые Семена», э грубо, сухо, неинтересно – «Первая книга для чтения», «Вторая книга для чтения», «Третья книга для чтения». А ведь к поэзии слова и озорники-школьники неравнодушны.

Я и потом, уже взрослым, недоумевал: что за странное иконоборчество у Льва Николаевича? Слышал и объяснение, что виновата, мол, Софья Андреевна, для которой возня с рисунками и гравюрами означала лишние хлопоты и расходы. Похоже на правду, но сам-то Толстой с его педагогическим опытом, Толстой, который рисовал своим детям собственноручно картинки к Жюлю Верну, должен был понимать, что для ребят школьного возраста книжка без картинок – не книжка! Как же мог умный и добрый Лев Николаевич так обидеть малых ребят?

Правда, мы с упоением читали в его книжках про зайца-русака, который жил зимой подле деревни, про собаку Бульку, про акулу, которая чуть не съела мальчика, про кавказского пленника Жилина и черкесскую девочку Дину, но с картинками все это было бы, конечно, еще заманчивее.

Позднее сочинения Толстого появлялись в нашем доме только в копеечных изданиях «Посредника» – это все были назидательные истории: «Где любовь, там и бог», «Бог правду видит, да не скоро скажет». Классиков провинция читала лишь по милости издателя А. Ф. Маркса, когда они появлялись в бесплатных приложениях к «Ниве», а отдельное издание сочинений Толстого стоило тогда дорого.

Я прочитал «Детство и отрочество», «Войну и мир», «Анну Каренину», «Воскресение», когда был уже в старших классах реального училища.

Это было как будто и не чтение даже, а что-то совсем иное, – это было «личное знакомство» с Наташей Ростовой, Андреем Болконским, Пьером Безуховым, Анной Карениной, Катюшей Масловой.

У других писателей – портреты литературных героев. А с персонажами Толстого вы как будто сами встретились в жизни и помните их во плоти как факт собственной биографии. Двадцать лет моей жизни прошли при живом Толстом, и с мальчишеских лет я ломал голову над загадкой: его считают великим писателем, но сочинения его запрещают, его знает и чтит весь мир, а синод отлучает его от церкви? Иногда был слышен, как дальний гром, его голос. Ясная Поляна казалась Синаем, откуда вещает грозный Саваоф: он появлялся в «грозе и буре». Ему писали, как отцу, со всех концов России, он отвечал всем – я своими глазами видел у разных людей письма Толстого.

Однажды он ушел ночью от семьи и близких и пропал, и «нашелся» на маленькой железнодорожной станции, и весь мир с трепетом прислушивался к его предсмертным хрипам.

…Хмурым ноябрьским утром 1910 года в класс вошел директор и сказал: «Толстой умер». Все встали. У директора на глазах были слезы. Мы тогда подивились: даже эта заячья чиновничья душонка чувствовала себя потрясенной и в первый раз на нашей памяти проявила человеческие чувства.

Потом появились у нас толстовцы. Первого толстовца я увидел у свободомыслящей барышни К. в гостях. Толстовец имел вид пророка: был густо бородат и носил длинные волосы с прямым пробором и металлический обруч на непокрытой голове. Одет он был в рубаху до колен из грубого мешочного холста и такие же штаны. Ноги – босые. При нем была некая Варя, постоянная его спутница, маленькая и серенькая, как мышка, лицо без речей. Впрочем, и сам толстовец говорил мало, он сидел у стола и важно и значительно вкушал гречневую кашу с молоком, которую предложила ему свободомыслящая барышня К.

Я смотрел на него и думал, что какие ни будь его убеждения, а, конечно, нужно немало мужества, чтобы ходить в таком виде по городу: мальчишки у нас привязчивые и дразнилы отчаянные – проходу не дадут. Да и взрослый народ нестеснительный – заорут, засвистят, загикают, не дай бог!

В толстовцы ударился потом мой крестный отец Иван Васильевич: читал «В чем моя вера», не ел «убоины», чай перестал употреблять, а пил взвар с медом или постным сахаром и очень всем этим гордился. Но это было уже мелкое и скучное толстовство, лишенное примет того воинствующего маскарада, каким мой первый толстовец утверждал всенародно свое

исповедание веры.

Красавица

По прихоти ктитора[13] кладбищенской церкви купца Попова наше городское кладбище имело вид увеселительного сада. Вдоль расчищенных аллей насажены были пионы и георгины, устроена роскошная клумба с фонтаном посредине, повсюду понаставлены декоративные арки с затейливой резьбой, вырыт пруд, через который перекинут был фигурный ступенчатый мостик, тоже со всякими узорами и скамейками для отдохновенья. Могилы где-то в стороне и не лезут на глаза. Кладбище густо заросло вязами и березами, сиренью и акацией и служило излюбленным местом для прогулок.

Наша память – прихотливая штука. Иногда важные, как говорится, узловые события жизни стираются бесследно, а вот какой-нибудь пустяк – лицо случайного встречного, строчка ничем не замечательного стихотворения, обрывок мимолетно услышанной песни, даже интонация отдельной фразы – спустя многие годы держится в памяти упорно и цепко.

«Пирует Петр!» Я закрываю глаза и слышу голос Кати Румянцевой, которая произносит эту фразу, передразнивая голос и манеру учительницы Книпович. Мы гуляем с Катей по аллеям нашего кладбища, и она рассказывает, как у них в женской гимназии идет подготовка к литературному вечеру. Катя будет читать «Горит восток зарею новой» из «Полтавы». Книпович учит ее приемам декламации.

Кате семнадцатый год. Она совершенная красавица и сама это знает. Как найти слова, чтобы передать очарование расцветающей девичьей красоты? Хороша, как молодая луна? Как царевна из сказки? Свежа, «как вешний цвет, взлелеянный в тени дубравной»? Пожалуй, больше всего подходят для Кати эпитеты из восточных сказок, потому что похожа она на персидскую княжну, которую бросил в Волгу Стенька Разин.

Держится Катя просто, естественно, без тени кокетства. Я не влюблен в нее, разве чуть-чуть, но в ее присутствии все время чувствуешь, что ты рядом с редкостным совершенством природы, и хочется быть находчивым, остроумным, хочется проявить на ее глазах какое-нибудь геройство.

К предстоящему своему выступлению на литературном вечере Катя относится со снисходительным презрением и репетирует нехотя: «Очень мне нужно для них выламываться!»

– «Пирует Петр», – произносит она небрежно и буднично.

– Нет: «Пирует! Петр!!» – восторженно-визгливо поправляет ее Книпович.

Катя опять лениво и рассеянно:

– «Пирует Петр».

– Да нет же: «Пирует!! Петр!!!» – выходит из себя Книпович.

Я представляю себе, как кипятится грузная, лупоглазая, с бугроватым лицом мясного цвета Книпович и как щурит на нее свои близорукие «персидские» глаза царственно-прекрасная Катя.

Катя равнодушна к школьным успехам, учится кое-как, спустя рукава. За нею пробовал ухаживать гимназический учитель естествознания, сердцеед и щеголь, с кудрявой шевелюрой, одетый в офицерского покроя китель в обтяжку и узкие рейтузы со штрипками. Катя милостиво принимала ухаживания педагога, но не очень его отличала: у нее отбою не было от серьезных претендентов на руку и сердце.

Она вышла замуж, как только кончила гимназию, за помещика Веденяпина.

Как, неужели Вовка Веденяпин стал избранником Кати, красавицы Кати, мечты нашей Кати, этот недоучившийся, недалекий малый в дворянской фуражке, чесучовой поддевке и гусарского фасона сапогах? *Для* пущей важности носил он на носу пенсне на тоненьком шнурочке, а в руках всегда вертел стек с серебряной собачьей головкой. Кажется, был он мастак гонять кием «от двух бортов в лузу» шары на бильярде, о других его талантах и подвигах ничего не было слышно. У него были щегольской экипаж, и собственный выезд, и кучер Семен со смоляной бородой, в оранжевой сатиновой рубашке и в плисовой, со сборками назади, безрукавке.

Потом летом мы иногда видели чету молодых в этом экипаже на улицах города. Катя в белом платье под белым кружевным зонтиком была очаровательна и казалась гордой, далекой и печальной (а может быть, это нам хотелось представлять ее печальной?). Веденяпин в пенсне, со значительной миной, выпятив нижнюю губу, сидел в коляске, по-хозяйски поддерживая красавицу-жену за талию. Семка, черный, как цыган, нарядный, в шляпе с павлиньим пером, лихо правил парой вороных.

А следующей весной Катя умерла первыми родами.

«Как пери спящая мила», лежала она в гробу, до боли трогательная своею мертвой мраморной красотой, похожая на Тамару с рисунка Врубеля.

Хоронили ее на нашем кладбище в фамильном склепе Веденяпиных. Похороны были пышные. Неутешный вдовец сменил поддевку на черный костюм с креповой повязкой на рукаве. У него ручьем лились слезы, и он то и дело снимал пенсне и утирал глаза платком. Хор пел: «Со духи праведны скончавшеся». Соборный протоиерей сказал над могилой слово на

текст: «Всегда положи в сердце своем, человече, яко днесь отыти». А вокруг склепа цвела и благоухала сирень, и сиреневый дух мешался с запахом ладана. Высоко в синем сияющем небе, ликуя, трепетали и звенели жаворонки.

Самовар

За верность старинному чину!
За то, чтобы жить не спеша!
Авось и распарит кручину
Хлебнувшая чаю душа!

А. Блок

Приедет ли, бывало, кто из уезда, зайдет ли вечером гость ближний – и сразу же: «Самоварчик?»

И уж пыхтит на столе, как символ гостеприимства, домашнее русское желтобрюхое божество, и угощенье на скатерти – свежесваренные, в самоваре же, яйца, и мед, и крендели на мочальной завязке, взятые по «заборной» (от слова «забирать») книжке («3 фу. кледелей» – записано в ней рукою лавочника). А по воскресеньям и в праздничные дни красуется самовар на столе, начищенный до золотого сияния, да еще разузорен любовной рукой начищалы сверкающими переливчатым блеском кружочками – как жеребец в яблоках!

Летом в праздники полагалось с самоварчиком ездить на лодке по Сердобе, останавливаться на берегу «блаженствовать». Можно бы было и чайник греть на костре, но с самоварчиком считалось «способнее». Показывали на реке место, где утонул самовар одной компании, вздумавшей «побаловаться чайком» на ходу лодки. Лодка качнулась, самовар в воду, да на глубоком месте – так и не нашли, сколько ни ныряли!

А с каким душевным умилением, после многих лет скитаний вернувшись домой, видишь на столе тот же старый самовар, знакомый с детства. Он выглядит инвалидом: бок вмят, конфорка покосилась, но храбрится старик, не унывает, бодро пыхтит и пускает пары.

Это год послевоенной разрухи: нет чая, нет сахара, нет «кледелей». Вместо чаю заваривают подсушенную на сковороде морковь. На столе – ржаные лепешки домашнего приготовления, сахарин, разведенный в чашке. Соль не в солонице, а экономно насыпана на маленьком блюдечке.

– А ты соли, служивенький, – шутит ласково мать, – соли, не стесняйся, соль у нас еще есть, у мешочника выменяли.

Братья подросли и глядят на меня с жадным любопытством. Чай разливает отец – так уж повелось у нас в семье.

– Ну, слава богу, все в сборе. А ты бы, Коля, пожил с нами,

можно получить хорошую должность в этой, как ее… раскомпросе, что ли? Паек дают приличный, надо бы разузнать.

Мать делится новостями:

– Знаешь, у барышни Бодиско ее сын Вадя убежал на войну да так и пропал без вести. Она совсем ополоумела с горя!

– Несчастная!

– Приезжал из Саратова оратор, рассказывал, что дома будут строить из стекла, а воздух в них будут подавать по заказу, какой захочешь: морской, горный, луговой или сосновый – прямо из бора!

– Ну, это, мама, еще не скоро будет.

Ах, хорошо все-таки дома!

На другой день, бродя по городу, я захожу по старой памяти к барышне Бодиско.

«Тяжелый крест достался ей на долю», – многозначительно говорили, бывало, о ней наши дамы. Судьба одарила ее красотой и талантом – прекрасным голосом. Она с отличием закончила консерваторию, получила заграничную командировку. В Италии у нее был неудачный роман, она родила сына и потеряла голос.

Она вернулась в наш город с ребенком на руках, держалась замкнуто и гордо, не жаловалась, не искала сочувствия, средства к жизни зарабатывала уроками французского языка.

Я открываю калитку, прохожу двором, толкаю дверь в переднюю – нигде не заперто.

На стук выходит хозяйка.

Боже мой, как она изменилась, как похудела, почернела! Ее прекрасные глаза, в которые я когда-то мальчишкой втайне был влюблен, смотрят восторженно и безумно. Она вытаскивает маленький, кривобокий, давно не чищенный самоварчик, наливает воды, и совместными усилиями мы разжигаем в нем огонь. Углей у нее не водится, топориком колю чурки и подкладываю в черное самоварное брюхо, отворачивая лицо от дыма. Она нищенски бедна, после смерти сына – вне жизни и не желает тратить усилий на добывание куска хлеба. Вместо чаю она наломала в огороде веток вишни и, сняв крышку, сунула их прямо в самоварный кипяток.

Мы пьем горячий красноватый напиток с запахом веника и вишневых косточек.

– А питаюсь я ракушками. Хотите попробовать? Она достает из чугунка крошечный, величиной с ноготь на мизинце, кусочек белого мяса. По вкусу он похож на курицу, но жестковат.

– По берегу ракушек сколько угодно. Я соберу в мешок, вымою и в кипяток. Только варить приходится долго, видите, какое жесткое мясо. В Париже, бывало, я едала улитки, поэтому

догадалась и про здешних. Правда, там морские улитки – les moules, их очень вкусно готовят с разными специями. В каждой gargote – ну, харчевне, что ли? – там отлично кормили. И дешево очень.

Голодные любят вспоминать о разных вкусных вещах, которые им случалось отведать.

– Что же я это все о еде? – спохватывается она и улыбается щербатой улыбкой. – Я, знаете, теперь, кажется, начинаю оживать. Мне предложили преподавать французский язык в школе, и я, пожалуй, соглашусь. Я ведь всегда была демократкой, эти – новые – мне нравятся. Я даже стихи опять начала сочинять.

Она глядит на меня экстатически-сумасшедшим взглядом и глухим голосом начинает читать свои стихи. Читает она не по-столичному, не ритмически-монотонно, как читают поэты, а как школьница – «с выражением».

Стихи плохие, и мне становится неловко.

Я прошу разрешения закурить трубку.

– Если я здесь устроюсь, то буду брать у вас уроки французского. Согласны?

Она со стремительной готовностью бросается к этажерке, ищет книжку.

– Вот, нашла. Мы будем читать Анатоля Франса вать по заказу, какой захочешь: морской, горный, луговой или сосновый – прямо из бора!

– Ну, это, мама, еще не скоро будет.

Ах, хорошо все-таки дома!

На другой день, бродя по городу, я захожу по старой памяти к барышне Бодиско.

«Тяжелый крест достался ей на долю», – многозначительно говорили, бывало, о ней наши дамы. Судьба одарила ее красотой и талантом – прекрасным голосом. Она с отличием закончила консерваторию, получила заграничную командировку. В Италии у нее был неудачный роман, она родила сына и потеряла голос.

Она вернулась в наш город с ребенком на руках, держалась замкнуто и гордо, не жаловалась, не искала сочувствия, средства к жизни зарабатывала уроками французского языка.

Я открываю калитку, прохожу двором, толкаю дверь в переднюю – нигде не заперто.

На стук выходит хозяйка.

Боже мой, как она изменилась, как похудела, почернела! Ее прекрасные глаза, в которые я когда-то мальчишкой втайне был влюблен, смотрят восторженно и безумно. Она вытаскивает маленький, кривобокий, давно не чищенный самоварчик,

наливает воды, и совместными усилиями мы разжигаем в нем огонь. Углей у нее не водится, топориком колю чурки и подкладываю в черное самоварное брюхо, отворачивая лицо от дыма. Она нищенски бедна, после смерти сына – вне жизни и не желает тратить усилий на добывание куска хлеба. Вместо чаю она наломала в огороде веток вишни и, сняв крышку, сунула их прямо в самоварный кипяток.

Мы пьем горячий красноватый напиток с запахом веника и вишневых косточек.

– А питаюсь я ракушками. Хотите попробовать?

Она достает из чугунка крошечный, величиной с ноготь на мизинце, кусочек белого мяса. По вкусу он похож на курицу, но жестковат.

– По берегу ракушек сколько угодно. Я соберу в мешок, вымою и в кипяток. Только варить приходится долго, видите, какое жесткое мясо. В Париже, бывало, я едала улитки, поэтому догадалась и про здешних. Правда, там морские улитки – les moules, их очень вкусно готовят с разными специями. В каждой gargote – ну, харчевне, что ли? – там отлично кормили. И дешево очень.

Голодные любят вспоминать о разных вкусных вещах, которые им случалось отведать.

– Что же я это все о еде? – спохватывается она и улыбается щербатой улыбкой. – Я, знаете, теперь, кажется, начинаю оживать. Мне предложили преподавать французский язык в школе, и я, пожалуй, соглашусь. Я ведь всегда была демократкой, эти – новые – мне нравятся. Я даже стихи опять начала сочинять.

Она глядит на меня экстатически-сумасшедшим взглядом и глухим голосом начинает читать свои стихи. Читает она не по-столичному, не ритмически-монотонно, как читают поэты, а как школьница – «с выражением».

Стихи плохие, и мне становится неловко.

Я прошу разрешения закурить трубку.

– Если я здесь устроюсь, то буду брать у вас уроки французского. Согласны?

Она со стремительной готовностью бросается к этажерке, ищет книжку.

– Вот, нашла. Мы будем читать Анатоля Франса «L'étui de nacre» – «Перламутровый ларец». Зачем откладывать, приступим хоть сейчас. Вот, возьмите, откройте первый рассказ: «Le procurateur de Judée» – «Прокуратор Иудеи».

– Давно я не держал в руках французской книжки.

– Тем более…

И я начинаю читать и перевожу, спотыкаясь на незнакомых

или забытых после долгого перерыва словах:

– «Л. Элиус Ламия… рожденный в Италии от родителей знатных… не покинул еще платья претекста… когда он пошел изучать… философию в школах Афин…»

А на улице уже совсем весна. У плетней и заборов повылезла из-под прошлогоднего сора молодая крапива, на припек выползли стада красных козявок.

Отец говорит:

– Вот зацветут яблони – сходи-ка ты к крестному. Подкатись к нему, может, расщедрится старый сквалыга, медку пожалует. Он медом торгует потихоньку и на деньги и на вещи меняет, а сам из себя толстовца корчит: «Вы, говорит, трупы едите, а я, говорит, никого не ем!»

Крестный живет круглый год в саду за городом. Раньше он имел в городе лавочку – торговал сапожным товаром. Поговаривали люди, что у него водились деньги и что он давал их в рост.

Большой сад крестного весь в цвету. Чудесный нежный дух яблонь стоит в теплом воздухе. Крестный появляется с пасеки, где он возился с пчелами, снимает сетку с головы. Он сухощав, загорел на солнце до свекольной красноты, на щеках и подбородке седая щетина.

– Благодать-то какая! Смотри, как мудро все сотворил Хозяин на благо людям!

Говорит он ласково, неторопливо, назидательно.

– А мы вот все за пустяками гонимся, стяжаем, завиствуем, а много ли человеку нужно? Сажень земли для могилы.

Он смахивает сор со стола:

– Садись на лавочку, чаевничать будем.

Мы сидим за самоваром под кустами сирени на вольном воздухе. Чай разливает Евдокия Никитишна, бессловесная супруга крестного. У нее такой же свекольный загар на загрубелой, обветренной коже, на верхней губе растут белесые усы. Третий в семействе – глухонемой Акимка – сирота-племянник, рослый безответный малый с постоянной улыбкой на глуповатом лице. Этот хлебает горячее пойло сосредоточенно и истово, с шумом и причмокиванием. Чай у крестного вкусный – фруктовый, из сушеной вишни и яблок, вроде украинского взвара. Крестный выложил каждому на блюдце по ложечке густого засахарившегося меда. Мед не отстает от ложки, крестный счищает его в блюдце грязноватым пальцем.

– Городских разносолов у нас, крестник, не полагается, питаемся дарами земли от трудов рук своих. Убоины не

употребляем, памятуя заповедь, что всякая тварь тоже жить хочет. Я и отцу твоему говорил: великое это счастье, что крестник в саперы попал, убивать ему на войне не придется. Сказано: «Не убий», а вот теперь и войну кончили, а люди опять за старое, опять восстал брат на брата, опять разбой, опять свары.

Вон, слыхал – будут отбирать сады, землю переделять; лишнее, говорят, захватили. Почему – лишнее? Я чужим трудом не эксплуатирую – все своими руками. Акимка ведь мне не чужой, не нанятой работник – племянник родной. Ну, нанимаю по весне мужика под картошку вспахать, девки, когда в охотку, помогут – я им яблоков в подол насыплю. Где ж тут эксплуатация?

Ты не слыхал, верно ли насчет передела, или пустой разговор? Да сам-то ты какого теперь духу? – подозрительно спрашивает он вдруг, не слыша от меня сочувственных реплик.

Золотой вечер спускается на белые яблони. Тишина, щебечут птицы, слышно журчанье родника, который бежит с горы по саду.

Я встаю, чтобы проститься. Крестный уходит в хату, выносит оттуда завернутую бумажкой чайную чашку и сует мне:

– Возьми медку, да чашечку занеси потом, или я сам зайду, как в городе буду. Забегай когда. Может, разузнаешь, какое распоряжение насчет садов будет, отберут или как?

Видно, что забота эта не дает ему покоя.

– На-ко еще тряпочку, обверни сверху, а то встретишь кого дорогой – наглядно будет. И то все болтают, что я медом торгую, капиталы коплю. Какие у меня капиталы?

Дома отец ахает над чашкой:

– Ай да кум! Отвалил от щедрот своих по губам помазать! Ну и жила, ну и кощей!

А мне все это забавно, как ребячья игра. Я все еще пребываю в блаженном состоянии отвоевавшегося солдата и думаю: «Как хорошо, что вот сейчас лягу спать и не разбудит меня ночью курьер с приказом: „Предписываю вам немедленно с получением сего…“ – и не погонит меня этот приказ в ночь, в огонь, к черту в зубы…»

notes

Примечания

1

Ободняло – рассвело, наступило утро.

2

Голбец – крест с кровелькой.

3

Праздник преполовенья – среда четвертой недели после Пасхи.

4

Щепной товар – изделия из дерева, деревянная посуда.

5

«Русские ведомости» – газета либерального направления.

6

Ауэровский колпачок – приспособление в керосиновой лампе для усиления яркости света.

7

Прозектор – ученая должность, связанная с изучением анатомии.

8

Гелиогравюры – способ глубокой печати.

9

Жантильом – дворянин.

10

Мизерабельный – ничтожный.

11

«Но никогда не пройдет любовь, которая у меня в сердце» (Г. Гейне)

12

Мюллер и Анохин – авторы руководств по комнатной гимнастике.

13

Ктитор – церковный староста.